

Афины, их взлет и падение, книга V

Барон Эдвард Булвер Литтон Литтон

Athens: Its Rise and Fall, Book V

Baron Edward Bulwer Lytton Lytton



The Project Gutenberg eBook of Athens: Its Rise and Fall, Book V

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Athens: Its Rise and Fall, Book V

Автор: Барон Эдвард Бульвер Литтон Литтон

Дата выхода: 20 октября 2006 [eBook #6155]

Последнее обновление: 29 декабря 2020 г.

Язык: Английский

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK ATHENS: ITS RISE AND FALL, BOOK V ***

КНИГА V.

ОТ СМЕРТИ ЦИМОНА, 449 Г. ДО Н. Э., ДО СМЕРТИ ПЕРИКЛА, В ТРЕТИЙ ГОД ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ, 429 Г. ДО Н. Э.

ГЛАВА I.

Фукидид, избранный аристократической партией для противостояния Периклу.- Его политика.- Значение Перикла.- Священная война.- Битва при Коронее.- Восстание Эвбеи и Мегары.- Вторжение и отступление пелопоннесцев.- Отторжение Эвбеи.- Наказание Гистиеи.- Тридцатилетнее перемирие, заключенное с пелопоннесцами.- Остракизм Фукидида.

I. После смерти Кимона (449 г. до н. э.) аристократическая партия в Афинах почувствовала, что положение их антагонистов и нравы времени требуют лидера со способностями, сильно отличающимися от тех, что были присущи сыну Мильтиада. Вместо умелого и предприимчивого полководца, часто отсутствующего в городе в блистательных, но далеких походах, необходимо было воспитать вождя, который мог бы бороться за их ущемленные и оспариваемые привилегии дома и встретиться с грозным Периклом, не имеющим равных преимуществ в гражданском опыте и ораторском таланте, в списках народного собрания или в хитросплетениях политических интриг. Поэтому их выбор пал не на Миронида или Толмида, а на того, кто, хотя и не прославился военными подвигами, считался выше Цимона, как практический государственный деятель или популярный оратор. Фукидид, их новый защитник, объединил с природными дарованиями все преимущества, которые могла принести память о Кимоне; его связь с этим выдающимся воином, которому он приходился шурином, служила для сплочения различных сторонников фракции и сохранила для евпатридов нечто вроде уважения и энтузиазма, которыми заслуги Кимона не могли не вызывать уважения даже среди демократии. Политика Фукидида была, возможно, лучшей из

тех, что позволяло положение дел; но она была сопряжена с большой опасностью. До сих пор эвпатриды и народ, хотя и находились в постоянном споре, не были абсолютно и полностью разделены; борьба обеих фракций, возглавляемых вельможами, едва ли позволяла демократии пользоваться гибельным преимуществом крика о том, что народ на одной стороне, а вельможи - на другой. Но Фукидид, стремясь сделать свою партию как можно более сильной, компактной и единой, собрал основную массу эвпатридов в единое тело. Средства, с помощью которых он добивался этой цели, описаны не очень четко, но, вероятно, это было создание политического клуба - разновидности социального объединения, которое впоследствии стало очень распространенным среди всех классов в Афинах. Первый эффект этой политики благоприятствовал аристократии, и проявленные ими энергия и союз на некоторое время восстановили равновесие партий; но влияние аристократов, ставшее явным и открытым и приведенное в явную вражду с народным делом, раскололо город надвое, и обществу было ясно предложено рассматривать аристократов как своих врагов [251]. Перикл, все больше и больше отталкиваясь от демократии, стал отождествлять себя с ее интересами и стремился, не столько по вкусу, сколько по политике, доказать населению, что оно выросло в богатую и великолепную нацию, которая может обойтись без щедрот, зрелищ и выставок отдельных вельмож. Он расточал излишние сокровища государства на общественные празднества, величественные процессии и театральные представления. Словно желая возвысить общинников до уровня знати, все, чем он апеллировал к их благосклонности, служило утончению их вкуса и внушению самому захудалому афинянину чувства афинского величия. Его враги утверждали, и эта старая байка была доверчиво повторена, что его личное состояние не позволяло ему соперничать с богатыми вельможами, которым он противостоял, и именно для того, чтобы восполнить его недостаток из общественного фонда, он направил часть национального богатства на поощрение национальных искусств и демонстрацию национального величия. Но более чем вероятно, что скорее из принципа, чем из личных амбиций, Перикл хотел свести на нет и затмить заинтересованные взятки в пользу общества, с помощью которых Цимон и другие пытались развратить народ. Перикл также не имел ни средств, ни духа, чтобы направить свое личное состояние на достойные объекты щедрости. "Именно его богатство и его благоразумие, - говорит Плутарх, обвиняя Анаксагора в неразумности, - позволили ему облегчить участь страждущих". То, что он тратил на благотворительность, он, возможно, мог бы с большей пользой потратить на показ, если бы не считал, что благотворительность - удел гражданина, а величие - привилегия государства. В полном соответствии с философией, которая теперь начала распространяться по всей Греции и которой так глубоко проникся ум этого великого политического художника, он считал, что благодеяния облагораживают город, который они украшают, и что слава государства тесно связана с блеском народа.

II. В то время как внутри страны раздоры в государстве доходили до той точки, когда борьба между противоборствующими лидерами должна была закончиться испытанием остракизмом, за границей между афинянами и спартанцами вспыхивали новые поводы для вражды. Священный город Дельфы входил в состав Фокии, но с давних пор его граждане, по-видимому, пользовались самостоятельным правом управления делами храма [252] и избирали своих собственных смотрителей оракула и сокровищницы. В Дельфах еще сохранялись следы дорийских институтов и дорийской крови, но первобытная доблесть и выносливость родового племени уже давно угасли. Беспорядочные связи с чужеземцами, пагубное влияние неослабевающего самозванства и жречества - а главное, богатство города, из которого туземцы черпали средства к существованию и даже роскошь, не затрачивая при этом никакого труда [253], - способствовали ослаблению и разложению национального характера. Не имея возможности защитить себя собственными силами от какого-либо врага, дельфийцы полагались на пассивную защиту, обеспечиваемую

суеверным почитанием соседей, или на прочный союз, существовавший между ними и великими спартанцами - представителями их общей дорийской расы. Афинское правительство не могло не счесть желательным вырвать у дельфийцев власть над оракулом и храмом, поскольку эта власть в любой момент могла стать подвластной спартанскому делу; поэтому они, похоже, попустительствовали дерзкой попытке фокийцев, которые теперь были их союзниками. Эти более жестокие соседи священного города потребовали и силой захватили право надзора над храмом. Спартанцы, встревоженные и возбужденные, направили в Дельфы вооруженный отряд и вернули гражданам прежние привилегии. Они благочестиво назвали свой поход Священной войной. Дельфы официально отказались от Фокийской лиги, объявили себя независимым государством и даже определили границы между своими и Фокийскими владениями. Спарта была вознаграждена за свою помощь привилегией первенства в обращении к оракулу, и этот указ спартанцы начертали на медном волке в священном городе. Афиняне больше не действовали через других - они осознали все преимущества того, что обеспечили своим друзьям и вырвали у врагов управление оракулом, от голоса которого зависела удача в войне и процветание в мире. Едва спартанцы отступили, как афинские войска во главе с Периклом, которого Анаксагор, как говорят, избавил от суеверных предрассудков, вошли в город и вернули храм фокийцам. На том же изображении, где была запечатлена привилегия спартанцев, появилась надпись, закрепляющая право первенства за афинянами. Вскоре удача этой экспедиции изменилась на противоположную.

III. Когда после битвы при Энофите афиняне установили в беотийских городах демократические формы правления, главные члены побежденной олигархии по собственному желанию или по принуждению отправились в изгнание. Эти злоумышленники, которым, несомненно, помогали партизаны, не разделявшие их изгнания, теперь захватили Хаэронею, Орхомен и некоторые другие беотийские города. Афиняне, которые дорожили восстановлением свободы в Беотии и впервые после персидской войны почтили погребением за государственный счет тех, кто пал при Мирониде, не могли равнодушно смотреть на эту попытку контрреволюции. Политика способствовала их любви к свободе, ведь нельзя забывать, что смена демократического правления на олигархическое в греческих государствах была формальным обменом афинского союза на спартанский. Однако Перикл, который всегда неохотно прибегал к войне, а самым примечательным свойством его характера была глубокая и расчетливая осторожность, выступил против предложения послать вооруженные силы в Беотию. Его возражения сводились к двум пунктам: он считал время неподходящим, и не хотел рисковать в не самом важном для Афин вопросе цветком гоплитов, или тяжеловооруженных солдат, которых тысяча предложила свои услуги в этом предприятии. Тем не менее, совет Толмида, жаждавшего войны и окрыленного прошлыми успехами, возобладал. "Если, - сказал Перикл, - вы не считаетесь с моим опытом, подождите хотя бы совета ВРЕМЕНИ, этого лучшего из советчиков". Это изречение было забыто в народном энтузиазме, которому оно противостояло, но впоследствии стало почитаться как пророчество. [254]

IV. При поддержке некоторых союзных войск и особенно тысячи добровольцев Толмид ворвался в Беотию, захватил Хаэронею, гарнизонировал захваченный город и возвращался на родину, когда на территории Коронеи неожиданно натолкнулся на вражескую засаду [255], состоявшую из изгнанников Орхомена, локрийцев Опунта и партизан олигархии Эвбеи. Завязалась битва - афиняне потерпели знаменательное и памятное поражение (447 г. до н. э.); многие попали в плен, многие были убиты: гордость и молодость афинских гоплитов остались на поле боя; были убиты храбрый и богатый Клиний (отец еще более знаменитого Алкивиада) и сам Толмид. Но катастрофа поражения была ничто по сравнению с его

последствиями. Чтобы вернуть пленных, афинское правительство было вынуждено заключить договор с враждебными олигархиями и вывести свои войска из Беотии. После их ухода старые олигархии повсеместно сменились дружественными демократиями, а ближайшие соседи Афин вновь стали их врагами. Эти перемены не ограничились Беотией. В Локрисе и Фокисе народная партия пала вместе с судьбой Коронеи - изгнанные олигархии были восстановлены, и когда мы в следующий раз читаем об этих государствах, они оказываются союзниками Спарты. На родине результаты дня в Коронее были еще более важными. Убийство стольких гоплитов значительно ослабило аристократическую партию в Афинах, а пренебрежительные напоминания и опасения Перикла, о которых теперь вспоминают, обеспечили ему уважение и доверие, которые вскоре изменили баланс в пользу его конкурента Фукидида.

V. Первое поражение гордой владычицы греческого моря стало сигналом для восстания недовольных зависимых государств. Остров Эвбея, пастбища которого теперь были необходимы афинянам, воодушевленный успехом, который в Коронее сопутствовал оружию эвбейских изгнанников, сбросил афинское иго (445 г. до н. э.). В том же году истек срок пятилетнего перемирия со Спартой, и это государство сразу же приоткрылось отомстить за свое унижение в Дельфах. Перикл, кажется, снова был призван к официальной власти - теперь он не был бесстрастен в действиях. Во главе достаточного войска он пересек канал и высадился на Эвбее. Едва он успел вступить на остров, как узнал, что Мегара восстала, что мегаряне, к которым присоединились партизаны из Сикиона, Эпидавра и Коринфа, обратили в меч афинский гарнизон, кроме нескольких человек, засевших в Нисее, и что армия пелопоннесских конфедератов готовится к походу на Аттику. Получив эти известия, Перикл вновь собрал свои войска и вернулся домой. Вскоре появились пелопоннесские войска под командованием юного Плейстоанакса, царя Спарты, который, будучи еще малолетним, был отдан под опеку Клеандрида; земли у западной границы Аттики, одни из самых плодородных на этой территории, были опустошены, и враг проник в Элевсис и Фрию. Но не было нанесено ни одного удара - они совершили агрессию и ушли. По возвращении в Спарту Плейстоанакс и Клеандрид обвинили в том, что они были подкуплены, чтобы предать честь или отказаться от мести Спарте. Клеандрид скрылся от обвинения и был приговорен к смерти в изгнании. Плейстоанакс также покинул страну и укрылся в Аркадии, в святилище на горе Ликей. Подозрения спартанцев, по-видимому, были слишком обоснованными, и Перикл, сдавая отчетность за тот год, как утверждается, записал десять талантов [256] как предназначенные для определенного использования, - и собрание согласилось с этим в сознательном и благоразумном молчании. Грозный враг отступил, Перикл снова вошел в Эвбею и уменьшил остров (445 г. до н. э.). В Халкисе он, по словам Плутарха, изгнал богатых землевладельцев, которые, несомненно, составляли олигархическую верхушку восставших, и колонизировал Гистиною афинянами, изгнав по крайней мере большую часть туземного населения [257]. За суровость последнего было принесено одно из самых сильных извинений, какие только может принести суровая справедливость войны за самые суровые приговоры: гистиэйцы захватили афинское судно и убили команду. Остальная часть острова была принята на условиях, по которым размер дани был несколько угнетающе увеличен. [258]

VI. Бесславный результат пелопоннесской экспедиции в Аттику, естественно, вызвал у спартанцев желание заключить мир на выгодных условиях, а воспоминания об опасностях, скорее ускользнувших, нежели разбитых, не могли не расположить афинское правительство к примирению с врагом, от которого многого следовало ожидать и мало что получить. Переговоры были начаты и завершены (445 г. до н. э.). Афиняне сдали некоторые из самых ценных плодов своих побед в Пелопоннесе. Они отказались от своих притязаний на Нисею и

Пегею, отказались от позиций, которые они установили в Троезене, отказались от союза или вмешательства в дела Ахайи, влияние которой распространилось до такой степени, что могло вызвать обоснованную тревогу у спартанцев, поскольку они получили право собирать войска в этой провинции, а ахейские вспомогательные войска служили под началом Перикла при осаде Эниады [259]. Таковы были условия, на которых основывалось тридцатилетнее перемирие [260]. Статьи были якобы неблагоприятны для Афин. Беотии больше не было - Локрис, Фокис, внутренняя революция (результат Коронеи) вырвала из их союза. Дельфийцы, должно быть, вернули себе власть над своим оракулом, поскольку отныне его священный голос звучал в пользу спартанцев. Мегара была потеряна, и теперь все владения на Пелопоннесе были сданы. Эти поражения, быстрые и значительные, могли бы научить афинян, насколько шатким бывает военное превосходство небольших государств. Но договор со Спартой, если и был невыгодным, не был бесчестным. Он был основан на одном широком принципе, без которого любой мир был бы просто насмешкой: афиняне не должны вмешиваться в дела Пелопоннеса. Этот принцип был признан, и отказ от несовместимых с ним преимуществ или завоеваний был лишь необходимой деталью. Поскольку Перикл в это время занимал свой пост [261] и боролся против вооруженного вмешательства в дела беотийских городов, вполне вероятно, что он следовал своей собственной политике, отказавшись от всякого права на вмешательство в дела пелопоннесских государств. Только заключив мир со Спартой, он мог осуществить свои грандиозные планы по увеличению величия Афин - планы, которые основывались не на ее сухопутных силах, а на подтверждении и укреплении ее морской империи; и мы вскоре найдем, рассматривая ее доходы, дополнительные причины для одобрения мира, необходимого для ее стабильности.

VII. Едва перемирие было заключено, как борьба между Фукидидом и Периклом подошла к своему кризису. Друзья первого не упускали случая обвинить Перикла в том, что он слишком расточительно тратил государственные средства на новые здания, украшавшие город. Это обвинение в расточительности, всегда внимательно воспринимаемое народным собранием, произвело на него сильное впечатление. "Если вы считаете, - сказал Перикл великому трибуналу, перед которым он выступал со своей защитой, - что я потратил слишком много, отнесите эти суммы на мой счет, а не на ваш, но при этом условии пусть на зданиях будет написано мое имя, а не афинского народа". Этот способ защиты, хотя, возможно, и был ораторской гиперболой [262], передавал упрек, на который афиняне были аудиторией, рассчитанной на один ответ - они отвергали обвинение и аплодировали расточительности.

VIII. Обвинения против государственных деятелей, если они не увенчались успехом, являются самыми красивыми ступеньками в их карьере. Фукидид потерпел неудачу против Перикла. Смерть Толмида, поражение при Коронее, резня гоплитов ослабили аристократическую партию; демократия и демократическая администрация воспользовались случаем для решительных действий. Фукидид был призван к остракизму, и его изгнание избавило Перикла от единственного соперника в борьбе за верховное управление Афинской империей.

ГЛАВА II.

Причины могущества Перикла.- Судебные инстанции зависимых союзников перенесены в Афины.- Очерк афинских доходов.- Общественные здания - дело рук народа, а не Перикла.- Пороки и величие Афин имели одни и те же источники.- Принцип оплаты характеризует политику периода.- Это политика цивилизации.- Колонизация, Клерухия.

I. В эпоху Перикла (444 г. до н. э.) есть то, что, казалось бы, должно возбуждать, а не разочаровывать любопытство. Мы полностью впечатлены блестящим разнообразием его дарований и влиянием, которое он оказывал на свое время. Он стоит посреди великих и бессмертных имен, в конце героического и в то же время внезапного меридиана цивилизованного века. И едва он удаляется от нашего взора, как все зло, от которого мог уберечься только его гений, собирается и смыкается вокруг города, украсить который для фестиваля было целью его жизни не меньше, чем увенчать его для командования. Кажется, будто вместе с Периклом из Афин ушла сама их молодость. Однако наши подробности и исторические материалы столь скудны, что жизнь этого удивительного человека скорее иллюстрируется общим светом времени, чем сиянием его собственного гения. Его военные достижения не ослепительны. Не сохранилось никаких реликвий, за исключением нескольких смелых выражений, от красноречия, которое вызывало ужас или успокоение, возбуждало или сдерживало самую сложную аудиторию в мире. Только анализируя произведения его современников, частично отмечая подъем всего народа, а частично собирая воедино разрозненные массы его амбициозной и продуманной политики, мы можем оценить и измерить пропорции хозяина-духа того времени. Век Перикла - это единственный историк Перикла.

Этот государственный деятель находился сейчас в том периоде жизни, когда государственные деятели обычно пользуются наибольшим уважением - когда они, еще в расцвете сил, приобрели достоинство и опыт лет, изжили прежние предрассудки и зависть, которые они возбуждали, и видят себя в окружении нового поколения, среди которого соперники должны быть менее распространены, чем ученики и поклонники. Шаг за шагом, путем долгой и последовательной карьеры, он поднялся до своего нынешнего положения, так что его взлет не поражал своей внезапностью; в то время как его рождение, его заслуги и его гений представляли собой сочетание претензий на власть, которые его враги не могли презирать, и которые оправдывали энтузиазм его друзей. Его общественный характер был незапятнанным; всеобщая вера в его честность и неподкупность имеет самые убедительные доказательства [263]; и даже те немногие клеветы, которые впоследствии возводились на него - например, что он вступил в одну войну, чтобы удовлетворить обиду Аспазии, и в другую, чтобы отвлечь внимание от своих финансовых счетов, - это клевета, настолько не подкрепленная никакими авторитетами и настолько абсурдная сама по себе, что она лишь доказывает, как мало было пунктов, по которым клевета могла бы напасть на него.

II. Очевидный способ объяснить моральную силу человека в любое конкретное время - это рассмотреть его собственный характер и выяснить, насколько он подходит для управления эпохой, в которой он жил, и народом, которым он управлял. Ни один афинянин, пожалуй, никогда не обладал таким количеством качеств, как Перикл, для получения широкого и длительного влияния на различные классы своих соотечественников. Своим вниманием к морским делам он завоевал моряков - самую трудноуправляемую часть населения; его поощрение торговли обеспечило безопасность купцов и примирило чужеземных поселенцев; а потрясающие произведения искусства, создаваемые повсюду, неизбежно завоевывали расположение огромной толпы ремесленников и механиков, которым они служили для работы. Не только к практическим интересам, но и ко всем более утонченным, но не менее сильным симпатиям своих соотечественников обращался его герой за поддержкой. Философия для всех партий, всех фракций становилась аппетитом и страстью. Перикл был скорее другом, чем покровителем философов. Растущая утонченность афинян, огромный приток богатств, которые вливались в казну от трофеев Персии и дани зависимых городов, пробуждали желание искусства; а изящный интеллект Перикла одновременно потворствовал и направлял это желание, продвигая каждый вид искусства к его

совершенству. Свобода демократии, культивирование драмы (которая является ораторским искусством поэзии), подъем прозаической литературы вызвали необходимость в народном красноречии, и вместе с Периклом родилось афинское красноречие. Таким образом, его сила черпалась из сотни источников: из грубых интересов, душевных симпатий, тщеславия, честолюбия, разума или воображения народа. Изучая характер Перикла и отмечая его соответствие своей эпохе, мы должны разделить восхищение его соотечественников. Он добился большего влияния, чем Писистрат, но оно зависело исключительно от свободной воли афинян, не было подкреплено вооруженной силой, подчинялось законам и могло быть в любой день распушено; а влияние такого рода в свободных государствах приобретает только людьми, которые сами по себе являются подобием и представителем подавляющего большинства демократии, которой они владеют. Даже аристократическая партия, так долго выступавшая против него, с падением Фукидида, похоже, ослабила свою враждебность. На самом деле в Перикле им было меньше поводов для недовольства, чем в любом из предыдущих лидеров демократии. Он не был, как Фемистокл, дерзким выскочкой, соперничающим с ними и затмевающим их притязания. Он принадлежал к их ордену. Его имя не было одиозным для них из-за партийных запретов или памяти о реальных страданиях. Он сам напомнил об их кумире Кимоне и в мерах, смиривших Ареопаг, так незаметно играл свою роль или так удачно подчинялся, что гнев аристократов обрушился только на Эфиальта. После остракизма Фукидида "он стал, - говорит Плутарх [264], - новым человеком, уже не столь подчиненным толпе, а правительство приняло аристократическую или, скорее, монархическую форму". Но эти выражения Плутарха не следует воспринимать буквально. Законы оставались столь же демократичными, агора столь же сильной, Перикл был в равной степени подчинен народному контролю; но теперь, завоевав доверие народа, он мог легче руководить им, или, как ярко замечает Фукидид, "не получив свою власть недостойно, он не был вынужден лстить или успокаивать народные чувства, но, когда требовалось, он мог даже решиться противоречить им". [265] Причина, которую историк называет для этого эффекта, заслуживает внимательного изучения амбициозными государственными деятелями: поскольку авторитет Перикла был заслуженно приобретен, народ часто терпел его даже непопулярное использование. С другой стороны, этот дальновидный и предусмотрительный государственный деятель, несомненно, в достаточной степени осознавал опасности, которым подвергалось государство, если недовольство большой аристократической фракции не было в какой-то степени примирено, чтобы побудить свой мудрый и трезвый патриотизм если не искать расположения своих противников, то, по крайней мере, осторожно избегать всех пустых попыток отомстить за прошлые вражды или подпитывать источники будущего раздражения. Он был многим обязан необыкновенной умеренности и ровности своего нрава; и долг его перед Анаксагором должен был быть поистине велик, если бы уроки этого проповедника этих кардинальных добродетелей интеллекта, спокойствия и порядка, помогли сформировать редчайший из всех союзов - гений самый пылкий, со страстями лучше всего регулируемые.

III. По всей вероятности, именно в это время Перикл получил возможность довести до конца политику, которую он всегда проводил в отношении союзников-трибунов. Мы видели, что казна была перенесена из Делоса в Афины; теперь было решено сделать Афины также местом и центром судебной власти. Подданные союзников были вынуждены, если не по незначительным, то, по крайней мере, по всем важным делам, обращаться за правосудием в афинские суды [266]. Таким образом, Афины стали как бы метрополией союзников. Более глубокого и разумного способа быстро установить свою империю изобретательность придумать не могла; но поскольку в ее основе лежало угнетение, которое должно было ощущаться ежедневно и нестерпимо, которое каждое дело жизни должно было вызывать раздражение, то с установлением империи одновременно была заложена неизбежная

причина ее упадка. Ведь хотя власть редко достигается без несправедливости, несправедливость, если она продолжается, является неизменным принципом ее разложения. И чтобы выстоять, власть должна поспешить избавиться от всех более одиозных атрибутов завоевания.

IV. Как практический государственный деятель, Перикл должен рассматриваться нами в основном в качестве финансиста. Английские историки не уделяли достаточного внимания его политике и притязаниям в этой области, но, несомненно, они составляли одну из самых заметных черт его общественного характера в глазах его соотечественников. Он стал первым министром в Афинах, который взял на себя научное управление национальными доходами, и отчасти благодаря его скрупулезной честности, отчасти его осторожной мудрости, а отчасти удачному стечению обстоятельств, афинские доходы, даже когда дань была удвоена, никогда не были более процветающими. Первым крупным источником доходов были дани городов-конфедератов [267]. Во времена Аристиды они составляли четыреста шестьдесят талантов, а при Перикле возросли до шестисот; однако нет никаких доказательств того, что эта сумма была собрана несправедливо или что новые поборы взимались, за исключением редких случаев [268], с первоначальных участников лиги. Увеличение на сто сорок талантов объясняется отчасти квотой различных конфедераций, приобретенной со времен Аристиды, отчасти освобождением от военной или морской службы, добровольно или неразумно приобретенным во время правления Кимона самими государствами. Поскольку дань была признаком зависимости и неполноценности, пошлина была тяжким бременем; но за это следует винить скорее тех, кто ее платил, чем тех, кто получал. Практическое бремя, которое он возлагал на каждое государство в этот период, в большинстве случаев было невероятно легким; и самое незначительное исследование докажет, насколько абсурдно преувеличены язвительные замечания невежественных или невнимательных людей, будь то в древние или современные времена, по поводу поборов афинян и обнищания их союзников. Аристофан [269] приписывает Афинской империи тысячу городов-притоков: это число, несомненно, является поэтическим допущением; однако, если вспомнить, какую территорию охватывала лига и как переполнены городами были все побережья и острова Греции, то мы, вероятно, не дотянем до числа городов-притоков, если оценим его в шестьсот; таким образом, дань во времена Перикла не превышала таланта, или 241л. 13s. 4d. [270] английских денег на каждый город! Даже когда в период острой нужды в ресурсах государства [271] Китера попала в руки афинян [272], дань с этого острова была оценена всего в четыре таланта. А по дошедшим до нас надписям мы узнаем, что некоторые места были обложены только двумя тысячами и даже одной тысячей драхм. [273]

Наконец, если оценка Аристиды в четыреста шестьдесят талантов была такой, что вызывала всеобщее удовлетворение своей справедливостью и умеренностью, то дополнительные сто сорок талантов во времена Перикла не могли быть чрезмерным увеличением, если учесть, насколько расширилась лига, сколько государств обменяли службу на дань, и насколько значительным было распространение богатства по большей части Греции, постоянный приток золота [274] и последующее падение стоимости драгоценных металлов.

V. Итак, не размер дани создавал трудности, и нельзя винить афинское правительство за то, что оно продолжало добровольно уступать требование. Первоначальной целью дани было поддержание лиги против варваров - афиняне были назначены главами лиги и хранителями дани; некоторые государства отказались от услуг и предложили деньги - их собственные предложения были приняты; другие государства отказались и от того, и от другого - это был не столько интерес, сколько обязанность Афин поддерживать, даже с помощью оружия, условия лиги - настолько ее политика оправдана. Но она ошиблась, когда превратила

союзников в иждивенцев, ошиблась, когда перевела казну из центрального Делоса в свое государство, и еще больше ошиблась, когда присвоила часть этих сокровищ для своих целей. Но эти пороки Афин - пороки всех выдающихся государств, монархических или республиканских, ибо это пороки сильных мира сего. "Так было, - говорят афинские послы у Фукидида с честной прямой и глубокой правдой, - так было по самой природе дела, что сначала мы были вынуждены довести нашу империю до того, чем она является, - прежде всего из-за страха, затем из-за чести и, наконец, из-за интереса; и тогда нам уже не казалось безопасным решиться отпустить бразды правления, ибо восставшие перешли бы к вам" (то есть к спартанцам) [275]. Таким образом, универсальный урок истории учит нас, что власть, в каких бы руках она ни находилась, имеет тенденцию расширять свои пределы, усиливать свою мощь в той мере, в какой противодействующая сила отказывается от обеспечения ее управления или от средств защиты от ее злоупотреблений.

VI. Со дня передачи казны Афинам Перикл не стеснялся выделять значительную часть общей дани на общественные здания и священные выставки - цели чисто афинские. Но он сделал это открыто - не пытался уклониться или замаскироваться - и заявил перед лицом Греции, что афиняне не несут ответственности перед союзниками за эти взносы; что именно афиняне сопротивлялись и защищали варваров, в то время как многие из конфедеративных государств не предоставили ни кораблей, ни солдат; что Афины теперь являются главой могущественной лиги и что, чтобы увеличить свою славу, укрепить свою власть, она обязана союзникам не меньше, чем себе. Аргументы, на которые могли ответить только армии, а не ораторы. [276]

Основные другие источники, из которых черпались афинские доходы, желательно изложить здесь настолько кратко и ясно, насколько это позволит характер предмета. Тем, кто хочет разобраться в этом вопросе глубже, следует внимательно изучить длинную и подробную статистику Боэция. Эти источники доходов были следующими.

1-е. Рента с корпоративных владений - пастбищ, лесов, рек, соляных заводов, домов, театров и т. д., а также рудников, сдаваемых в аренду на годы или в наследственную аренду.

Во-вторых. Пошлины, экспортные и импортные пошлины, которые, вероятно, платят только чужеземцы и которые составляют два процента, рыночный акциз и двадцатая часть всего экспорта и импорта, взимаемая в зависимых союзных городах - последнее является значительной статьей.

В-третьих. Десятина, взимаемая только с земель, находящихся в узуфрукте, как имения, принадлежащие храмам.

В-четвертых. Налог на защиту [277], который платили поселенцы, или метеки, общий для большинства греческих государств, но особенно продуктивный в Афинах из-за количества чужеземцев, которых привлекали ее торговля, ее праздники и ее слава. Политика Перикла не могла не увеличить этот источник дохода.

5-е. Налог на рабов в размере трех оболов с головы. [278]

Большинство из этих налогов, по-видимому, были отменены.

6-е. Судебные сборы и штрафы. Поскольку мы видели, что союзники в большинстве важных процессов были вынуждены искать правосудия в Афинах, во времена Перикла это был выгодный источник дохода. Но это был источник, размер которого неизбежно зависел от мира.

Штрафы были разных классов, но не очень ценные для государства, по крайней мере в этот период. Иногда (как и во всех частных обвинениях) штраф ложился на истца, иногда значительная часть обогащала казну богини-покровительницы. Задача оценки штрафов была одиозной и небрежно выполнялась властями, а заинтересованным лицам было легко предоставить ложный отчет о своем имуществе.

Наконец. Государство получало помощь в виде ежегодных взносов, или так называемых литургий, от частных лиц за определенные услуги.

Обычные литургии были следующими: 1. Хорегия, или обязанность обеспечивать хор для пьес - трагических, комических и сатирических, - вознаграждать руководителей певцов и музыкантов, содержать последних во время обучения, поставлять платья, золотые короны и маски, и, в общем, все украшения и оборудование театра. Тот, на кого выпадала эта тяжкая честь, назывался хорекусом; его имя и имя его племени записывалось на треножнике, который возвещал о победе удачливого поэта, чьи выступления выставлялись напоказ. [279]

2dly. Гимnasiархия, или ответственность за обеспечение расходов на факельные состязания, проводимые в честь богов огня, и некоторые другие священные игры. В более поздние времена гимнасиархия включала в себя надзор за учебными школами и расходы на украшение арены.

3-е. Архитектория, или задача содержания посольства на священных играх и праздниках.

И, в-четвертых, гестиазис, или пиршество племен, - дорогостоящее обязательство, которое брал на себя какой-нибудь богатый член каждого племени, чтобы развлекать все племя на публичных, но не очень роскошных банкетах. Этот последний расход был нечастым. Хестиасис предназначался для священных предметов, был связан с обрядами гостеприимства и служил для подтверждения дружеских отношений между членами племени.

Все эти три обычные литургии носили религиозный характер; они были обязательны для тех, кто обладал имуществом не менее трех талантов; они исполнялись по очереди племенами, за исключением случаев, когда их добровольно совершали отдельные лица.

VII. Расходы на оборону или нужды государства были не регулярными, а чрезвычайными литургиями - например, триерархия или снаряжение кораблей, что влекло за собой также обязанность личной службы для тех, кто снаряжал триремы. Личная служба была характерна для всех литургий, исключение составлял лишь налог на имущество, который еще не был изобретен; он, хотя и носит название, не имеет признаков литургии. Из необычных литургий наиболее важной была триерархия. Она была очень раннего происхождения. Боэкс отмечает, что она упоминается еще во времена Гиппия. В тот период, о котором мы говорим, у каждого сосуда был один триерарх. Судно передавалось триерарху, иногда в готовом виде; он также получал государственные деньги на определенные расходы; другие расходы ложились на него самого [281]. Иногда, но редко, честолубивый или патриотически настроенный триерарх оплачивал все расходы; но в любом случае он предоставлял строгий отчет о понесенных расходах. Стоимость всей триерархии составляла не менее сорока мин и не более таланта.

VIII. Ни от одного человека нельзя было требовать одновременно две литургии, и ни одна из них не совершалась чаще, чем раз в год. Тот, кто служил триерархии, освобождался от всех других взносов. Сироты освобождались от уплаты взносов до года после достижения ими совершеннолетия, и подобное освобождение в очень редких случаях было наградой за

выдающиеся государственные заслуги. Девять архонтов также были освобождены от триерархии.

IX. Нравственные недостатки литургий были недостатками благородной теории, которая почти всегда заканчивается практическими злоупотреблениями. Их принцип заключался в том, чтобы сделать честь вкладу в общественное великолепие или национальные нужды. Отсюда, в прежние времена, стремление богатых купить благосклонность либеральной, но часто расчетливой и заинтересованной показухой; отсюда, среди бедных, движимых таким же честолюбием, возникла столь сильная потребность в богатстве как средстве к власти, что способ, которым оно должно было быть приобретено, часто упускался из виду. То, что в теории задумывалось как щедрость патриотизма, на практике стало лишь показным двигателем коррупции; и люди соперничали друг с другом в хорегии или триерархии не столько ради услуг, оказанных государству, сколько в надежде приобрести влияние на народ. Я могу также заметить, что с чисто фискальной точки зрения принцип литургий был в корне неверен; этот принцип заключался в том, чтобы облагать налогом немногих, а не многих; поэтому его действие было не более неравным в своих оценках, чем непродуктивным для государства в пропорции к его бремени на отдельных людей.

X. Различные пошлыны взимались фермерами - пагубный план финансирования, характерный для большинства греческих государств. Крестьяне давали поручителей, и от них строго требовалась пунктуальность, под страхом тюремного заключения, удвоения долга, конфискации имущества, принудительного удержания поручителей.

XI. Таковы были основные источники афинских доходов. В дальнейшем представится возможность дополнить этот краткий очерк и уточнить каждую деталь. Сейчас этот набросок представлен читателю как знание, необходимое для ясного понимания политики Перикла. Достаточно беглого взгляда на предыдущие страницы, чтобы понять, что именно на строгом отказе от ненужных войн - прежде всего, от далеких и опасных предприятий - основывался доход Афин. Торговые пошлыны, налог на поселенцев, судебные сборы, получаемые от зависимых союзников, основная прибыль от рудников - все зависело от поддержания мира: даже иностранная дань, самая продуктивная из афинских ресурсов, могла сразу же пропасть, если афинское оружие потерпит хоть одно поражение, как это и произошло после роковой битвы при Эгоспотамах [283]. Именно это могло показать великому министру финансов, что мир с Пелопоннесом вряд ли можно купить слишком дорогой ценой [284]. Сдача нескольких городов и крепостей была ничто по сравнению с остановкой и параличом всех источников ее богатства, что стало бы необходимым результатом долгой войны на ее собственной земле. По этой причине Перикл решительно пресекал все дикие планы афинян по расширению империи. Однако, ослепленные славой Кимона, некоторые питали надежды на возвращение Египта, другие - на вторжение к персидским берегам; прекрасная и роковая Сицилия уже возбуждала коварство и честолюбие других, а тщеславные энтузиасты Агоры даже мечтали сделать этот остров основой и центром нового и обширного владения, включающего Карфаген с одной стороны и Этрурию с другой [285]. Противостоять таким замыслам было великой целью Перикла. Он стремился к величию Афин не меньше, чем самые смелые из этих мечтателей; но он лучше понимал, на каком фундаменте оно должно быть построено. Его целью было укрепить уже приобретенные владения, ограничить афинскую энергию границами Греции и обуздать, как это лучше сделать миром, а не войной, пелопоннесские силы на их собственных скалистых барьерах. Он стремился достичь этих целей, во-первых, с помощью морской силы; во-вторых, с помощью той инертной и безмолвной мощи, которая проистекает из морального достоинства и известности нации; все, что в этом последнем отношении могло прославить Афины, сделало Афины грозными.

XII. Затем быстро развивались те славные ткани, которые казались, по изящному выражению Плутарха, наделенными цветением вечной молодости. Дома горожан по-прежнему оставались простыми и неукрашенными, улицы - узкими и неровными, и даже спустя столетия незнакомец, попавший в Афины, не сразу распознал бы в них хозяйку греческого искусства. Но на фоне домашнего уюта обычных улиц и частных особняков великолепие общественных зданий составляло ослепительный контраст. Акрополь, возвышавшийся над домами и улицами людей - место, слишком священное для человеческого жилья, - стал, выражаясь пословицей, "городом богов". Гражданину повсюду напоминали о величии государства, его патриотизм усиливался гордостью за его красоту, его вкус возвышался зрелищем его великолепия. Поэтому в Афины стекались все, кто во всей Греции был выдающимся деятелем искусства. Скульпторы и архитекторы соревновались друг с другом в украшении молодой императрицы морей [286]; затем появились шедевры Фидия, Калликрата, Мнесикла [287], которые даже в своих разбитых останках или в слабых копиях менее вдохновенных подражателей все еще вызывают столь сильное удивление и служат образцами, столь бессмертными. И если, так сказать, их кости и реликвии вызывают у нас благоговение и зависть, свидетельствуя о более прекрасной и великой расе, которую сметал потоп времени, то каков должен был быть их блестящий эффект в те времена - неизменные в своих справедливых пропорциях, свежие во всех своих чертах и оттенках? Ведь их красота не ограничивалась симметрией арок и колонн, а материалы не ограничивались мрамором Пентелика и Пароса. Даже внешняя отделка храмов сияла богатейшей гармонией красок и была украшена чистейшим золотом; атмосфера, благоприятная для проявления и сохранения искусства, позволяла внешним фронтонам и фризам всю мелочность орнамента, всю яркость красок, какие еще можно увидеть в интерьере италийских церквей, но в последнем случае они были испорчены вульгарным и варварским вкусом. Афиняне также не жалели средств на работы, которые, подобно гробницам и треножникам их героев, должны были стать памятниками нации для далеких веков и передать самые неопровержимые доказательства того, "что могущество древней Греции не было пустой легендой". [288] Вся демократия была одушевлена страстью к Периклу; и когда Фидий рекомендовал мрамор как более дешевый материал, чем слоновая кость, для великой статуи Минервы, именно по этой причине единодушным голосом собрания было отдано предпочтение слоновой кости. Таким образом, будь то экстравагантность или великолепие, вина в одном случае, восхищение в другом, возлагается не больше на министра, чем на население. И действительно, главной особенностью этих произведений было то, что они были полностью творениями народа: без народа Перикл не смог бы построить храм или нанять скульптора. Чудеса того дня были результатом энтузиазма населения, еще молодого, полного первой страсти к прекрасному, посвящавшего государству, как любовнице, трофеи, завоеванные с честью, или сокровища, добытые с вредом, и объединявшего ресурсы нации с энергией отдельного человека, потому что труд и затраты несли те, кто добился удовольствия и присвоил себе славу.

XIII. Афины черпали свои главные политические пороки из двух источников: во-первых, из своей морской империи и поборов с союзников; во-вторых, из бесконтрольного, ничем не сдерживаемого демократического действия, лишенного двух вент, известных во всех современных государствах, - прессы и представительного, а не народного собрания. Но из этих источников она черпала и все свое величие, моральное и интеллектуальное. До Персидской войны, и даже едва ли до времени Кимона, Афины нельзя назвать затмившими своих соседей в области искусств и наук. Она стала центром и столицей наиболее образованных общин Греции, и в ней сосредоточился весь греческий интеллект; она получила от своих иждивенцев богатство для управления искусствами, которые всеобщее движение и общение научили ее ценить; так возникли Одеон, Парфенон и Пропилеи! При том же правлении были завершены укрепления, и третья стена, параллельная [289] и близкая

к той, что соединяла Пирей с Афинами, завершила труды Фемистокла и Кимона и сохранила сообщение между двумя городами, даже если бы внешние стены попали в руки врага.

Но одних почестей и богатства было бы недостаточно для всеобщего подражания, всеобщей преданности всему, что могло украсить или возвысить нацию. Именно нововведения Аристиды и Эфиальта вдохнули в эту абстрактную и холодную формальность, ГОСУДАРСТВО, дыхание и силу всепроникающего народа, и заставили самого заурядного гражданина бороться за Афины с тем рвением, с которым амбициозный государственный деятель борется за себя [290]. Эти две причины, объединенные вместе, открывают нам истинную тайну, почему Афины получили превосходство в интеллектуальной величии над остальной Грецией. Если бы Коринф получил власть над морями и сокровищницу Делоса, если бы он установил за границей власть, столь же произвольную и обширную, а дома - демократию, столь же широкую и чистую, у Коринфа могли бы быть свои Перикл и Демосфен, свой Фидий, свой Софокл, свой Аристофан, свой Платон - и потомство не позволило бы Афинам претендовать на звание "Эллады Эллад", "Греции Греции".

XIV. Но рост богатства не ограничивался только этими великолепными произведениями искусства - он проникал во всю внутреннюю политику Афин. Мы должны помнить, что, поскольку величие государства принадлежало демократии, его сокровища были собственностью свободного населения. Именно народ был богат, и, согласно всем представлениям о политической экономии того времени, народ желал практически наслаждаться своим собственным изобилием. Так был введен принцип оплаты за службу, так было санкционировано и узаконено право общего посещения зрелищ, основная стоимость которых покрывалась за счет общего имущества. То, что подобные нововведения стали бы необходимым и неизбежным результатом переполнения казны в демократическом государстве, настолько очевидно, что нет ничего более абсурдного, чем возлагать вину за эти перемены на Перикла. Он лишь уступал и регулировал непреодолимое течение всеобщего желания. Кроме того, мы можем заметить, что большинство нововведений, которые в конечном итоге оказались вредными для Афин, основывались на признанных принципах современной цивилизации; некоторые из них были ошибочными скорее из-за деталей, чем из-за принципов; другие - из-за отсутствия гармонии между новыми принципами и старой конституцией, к которой они были применены. Каждый из элементов может быть полезен для здоровья, но в совокупности они дают яд.

XV. В современной политике, например, аксиомой является то, что судьи должны получать жалованье [291]. Во времена правления Перикла этот принцип применялся к дикастам в народных судах. Представляется вероятным, что причиной принятия этого закона стало огромное количество юридических дел, возникших в результате передачи судов союзных государств афинскому трибуналу. Судебные тяжбы стали настолько распространенными, что без заработной платы граждане не могли оставить свои дела ради чужих. Поэтому выплата жалованья была справедливой и неизбежной, и, несомненно, афинянам, как и нам сейчас, она казалась лучшим средством не только обеспечить внимание, но и укрепить честность судей или присяжных. Поэтому принцип жалованья был правильным, но его результаты были плохими, когда он применялся к особой конституции судов. Жалованье было небольшим, судей было много, и в основном из самого скромного класса - последствия я уже показывал [292]. Если бы жалованье было высоким, а число судей небольшим, то средства для хорошего судопроизводства были бы достигнуты. Но тогда, согласно представлениям не только афинян, но и всех эллинских демократий, самой демократии, конституционным оплотом и жизненной сущностью которой считались народные суды, пришел бы конец. Поэтому в этой ошибке, какой бы фатальной она ни была, не следует винить ни Перикла, ни

афинян, а теории эпохи [293]. Кроме того, в Англии ранее действовала максима, к которой теперь склоняются многие политические философы и которая до сих пор принята в практике большой и просвещенной части мира, что члены законодательного собрания должны получать жалованье. Этот принцип теперь применялся в Афинах [294]. Но там законодательным собранием был сам народ, и таким образом принцип, возможно, здоровый сам по себе, превратился в абсурд, когда народ как суверен платит народу как законодателю. Однако даже это могло быть необходимо для сохранения конституции, поскольку собрания становились все более многочисленными, а дела - сложными; ведь если бы народ не был искушен и даже вынужден собираться большими массами, дела государства были бы подчинены активным меньшинствам, и жизнь демократии была бы утрачена [295]. Плата сначала составляла один обол, затем была увеличена до трех. Мы также не должны полагать, как по невежеству или наглости некоторых современных историков, что в новой системе выплат народ был щедр только по отношению к себе. Платили сенату, платили общественным защитникам и ораторам, платили послам, инспекторам юношей в торговых школах, номотетам или комиссарам законов, врачам, певцам, даже поэтам; все слуги различных должностных лиц получали жалованье. И теперь, как неизбежное следствие той цивилизации в торговом обществе, которая умножает и сильно разграничивает разделение труда, безопасность государства уже не зависела только от некупленных рук и сердец его граждан - платили не только самим афинянам, служившим в качестве солдат, но и привлекали иностранных наемников - мера, согласующаяся с характерной политикой Перикла, который был особенно бережлив к жизни граждан. Но из всех греческих государств афинянам было свойственно гуманное и прекрасное обеспечение бедных, начатое при Солоне или Писистрате. В этот счастливый и блестящий период в нем мало кто нуждался - войны и бедствия, увеличивая число обездоленных, расширяли благотворительность государства.

XVI. Таким образом, та общая система платежей, которая выросла при Перикле и породила множество злоупотреблений при его преемниках, была, в конце концов, лишь необходимым результатом возросшей цивилизации и роскоши того времени. Не приходится удивляться и тому, что люди более низкого или среднего сословия, которые из своего общего фонда щедро одаривали гениев [296] и одни из всех современных государств давали помощь нуждающимся, содержали детей всех погибших на войне, выплачивали вознаграждение за каждую услугу, не сочли зазорным потребовать за свое присутствие на должностях, навязанных им конституцией, компенсацию за заброшенность их личных дел, мало чем превышающую ту, что полагалась самим нищим государства. [297]

XVII. Но было и другое злоупотребление, которое проистекало из богатства народа и той любви к зрелищам и выставкам, которая была естественна для живого ионического воображения и не могла не расти по мере того, как досуг и утонченность становились благами, распространявшимися на основную массу населения, - злоупотребление, пустяковое само по себе, но роковое по прецеденту, который оно создавало. Пока театр был деревянным, свободный вход в него приводил к слишком большому скоплению людей, что не могло обеспечить устойчивость здания; однажды, правда, сиденья провалились. Поэтому задолго до нынешнего периода было сочтено целесообразным ограничить число зрителей небольшой платой в два оболы за каждое место; так продолжалось и после того, как величественное каменное здание заменило деревянный храм прежней драмы.

Но по мере того как в казну текли богатства, а драма становилась все более и более великолепной и популярной из национальных выставок, казалось справедливым вернуться к древнему способу безвозмездного приема. Однако было сочтено удобным, отчасти,

возможно, для большего порядка и лучшего распределения мест, отчасти, также, для оплаты нескольких расходов, которые ложились не на государство, а на частных лиц, а отчасти, несомненно, для сохранения различий между гражданами и чужестранцами, сохранить цены, но разрешить тем, чьи имена были записаны в книгу граждан, получать деньги за вход из государственной казны. Этот фонд назывался ТЕОРИКОН. Но после того, как пример был подан, Теорикон был распространен и на другие праздники, кроме драматических [298], и, наконец, под благовидным и популярным предлогом допуска бедных слоев населения к тем национальным или религиозным праздникам, исключать которые, как составляющие основную массу народа, противоречило теории конституции, проложили путь к щедрым раздачах общественных денег, которые одновременно стремились истощить богатство государства и сделать развратным и легкомысленным дух народа. Но эти злоупотребления еще не были заметны: напротив, при Перикле результаты "Теорикона" были весьма благоприятны для нравов и гения народа. Искусство стало всеобщим правом, и в то время как утонченность вкуса распространялась, патриотизм граждан усиливался сознанием того, что они являются общими и законными арбитрами всего, что увеличивает блеск и славу Афин.

Таким образом, на самом деле, последующее зло, вытекающее из более популярной части внутренней политики Перикла, невозможно было предвидеть; оно проистекало не из одного высказывания, а из самой природы цивилизации. И как в деспотиях грубая и чувственная роскошь, установившись, уничтожает силу и мужественность народа-завоевателя, так и в этой интеллектуальной республике именно роскошь интеллекта постепенно одурманила великий дух победителей Марафона и Саламины и вызвала поколения красноречивых болтунов и философских мечтателей из прежней эпохи активных свободных людей, неугомонных искателей приключений и выносливых воинов. Дух поэзии, или изнеженное потворство одним способностям в ущерб другим, произвел в целом народе то, что он никогда не перестает производить в отдельных людях: он сделал их неприспособленными к суровым и практическим требованиям жизни, как только они выросли в мужественность, подверженную более суровой борьбе, чем та, которой подверглась их юность; и заставил любовь к прекрасному подчинить себе или смягчить обычное знание о полезном. Гений сам по себе стал болезнью, и поэзия способствовала эвтаназии афинян.

XVIII. Как все меры Перикла были направлены на укрепление Афинской империи, так и при его правлении не была упущена политическая целесообразность колонизации. В последние годы, когда государства утвердились, а племена осели, переселения греков были гораздо реже прежнего; а одна из главных причин колонизации, заключающаяся в жестокой вражде партий и изгнании значительного числа граждан, проистекала из бедствий младенческих общин и уже не действовала при свободном, но сильном правительстве Афин. Как вместе с вольностями пала торговля Милета и Ионии, так и другой главный источник старой колонизации стал сравнительно вялым и бездеятельным. Но теперь, под именем Клерухи [299], возникло новое описание колонистов - колонистов, с помощью которых страна-мать не только вытягивала излишнее население или избавлялась от беспокойных авантюристов, но и пускала корни своей империи в различных местах, которые попадали под ее контроль. В классическую, как и в феодальную эпоху, завоевание давало право на земли покоренной страны. Так возникло и до сих пор существует на разграбленных землях Лаконии содружество Спарты, так содержалась богатая и роскошная фессалийская знать, и так, в общем, были созданы все древние дорийские олигархии. После возвращения Гераклидов этот способ завершения завоевания перестал использоваться, но не из-за морального убеждения в его несправедливости, а потому, что войны между различными государствами редко заканчивались победами настолько полными, чтобы позволить захватить землю и

подчинить себе жителей. Не следует забывать, что древние греческие племена вели войны, чтобы добиться поселения, а не для того, чтобы увеличить свое господство.

Малочисленность их населения делала человеческую жизнь слишком ценной, чтобы рисковать ее растратой в экспедициях, которые характеризовали амбиции вождей восточных орд. Но перед персидскими войнами плодородные луга Эвбеи представляли для афинян соблазн, от которого вряд ли можно было ожидать, что у победоносных соседей хватит воздержания отказаться; и мы видели, что они отдали земли Гиппоботеи афинским поселенцам. Эти колонисты покинули свои владения во время персидской войны: Гиппоботы вернулись и, по-видимому, спокойно, но, скорее всего, в качестве данников, владели своими древними владениями до недавнего отступления пелопоннесцев. Перикл разгромил и вытеснил их, их земли снова перешли к афинским колонистам, а север Эвбеи был защищен и укреплен гарнизоном благодаря возведению Орея, нового города, который вытеснил старую Гистинею. Территории на Скиросе, Лемносе и Имбросе также были дарованы афинским поселенцам во время ранних успехов афинского оружия, и прецеденты, созданные таким образом, становились все более многочисленными под влиянием глубокой и систематической политики Перикла. Этот способ колонизации, помимо обычных преимуществ, присущих всем колонизациям, давал еще два, свойственных только ему. Во-первых, он восполнял недостаток земли, который был одним из главных неудобств Аттики, и вознаграждал заслуженных или успокаивал скупых граждан поместьями, которые не обедняла родная страна. Во-вторых. Он обеспечивал завоевания государства, выставляя гарнизоны, содержание которых обходилось недорого [300]. Так, Перикл отправил тысячу человек в ценные владения в Херсонесе, двести пятьдесят - на Андрос, пятьсот - на Наксос, тысячу - во Фракию. В другой период, дата которого точно не установлена, но, вероятно, вскоре после заключения перемирия с пелопоннесцами, большой флот под командованием Перикла проплыл по Эвксинскому морю, чтобы внушить трепет и впечатление различным государствам и народам на прилегающих побережьях, будь то греки или варвары, демонстрацией афинской мощи; а город Синопа, в то время разделенный спорами за и против своего тирана Тимесилая, республиканская партия обратилась за помощью к главе греческих демократий. Ламаху, воину, чье доблестное имя, впоследствии отличившемуся в Пелопоннесской войне, Аристофан удостоил в равной мере насмешек и похвал, были доверены тринадцать галер и компетентные силы для изгнания тирана и его приверженцев. Цель была достигнута, и новое правительство Синопы наградило шестьсот афинян свободой города и имуществом побежденной фракции.

Пока Афины закреплялись на более отдаленных землях, постепенно их власть распространилась на более близкие и необходимые думы Эвбеи, пока земли более чем двух третей этого острова не оказались во владении афинян [301]. В более поздний период новые возможности привели к появлению новых клерухий. [302]

XIX. Кроме этих клерухий, во второй год правления Перикла в Западной Италии была основана колония, правильно названная так, интересная как великими именами ее первых искателей, красотой места и тем обстоятельством, что она была, кроме Амфиполя, единственной чистой и законной колонией [303], в отличие от клерухий, основанных Афинами со времен ее древнего переселения в Ионию и на Киклады. За два века до этого некоторые ахейцы, смешавшись с троянцами, основали в плодородном саду Магна-Греции государство Сибарис. Расположенная между двумя реками, Кратисом и Сибарисом, обладающая необычайными преимуществами местности и климата, эта знаменитая колония с небывалой быстротой достигла славы в войне и роскоши в мире. Население и ресурсы колонии были столь велики, что, по словам Диодора, за один раз она вывела на поле боя триста тысяч человек - армию, вдвое превосходившую ту, которую вся Греция смогла

собрать при Платее! Преувеличение очевидно, но оно все же свидетельствует о вере в густонаселенность и могущество, которые не должны были покоиться на сказочном фундаменте. Сибаритское государство некоторое время процветало благодаря принятию принципа, который всегда склоняет цивилизацию к преждевременному развитию и нередко заканчивается разрушением национального характера и внутренней стабильности: оно открыло свои объятия чужеземцам всех племен и сословий. Ее торговля, как и торговля Агригентума, была наполнена искателями приключений и, несомненно, черпала свои источники из масла и вина, которые она вливала в гавани Африки и Галлии. Как и в случае с отдельными людьми, так и в случае с государствами, легко полученное богатство расточительно тратится, и сладострастие Сибариса превратилось в поговорку, более устойчивую, чем ее процветание. Ее величие, приобретенное благодаря умеренной и активной демократии, получило смертельный удар в результате узурпации тирана по имени Телис, который в 510 году до н. э. изгнал пятьсот главных граждан. Кротон принял изгнанников, началась война, и в том же году или вскоре после этого кротониаты под командованием Милона разгромили сибаритов с огромной резней, а город был оставлен на разграбление, опустел и разорен. Те, кто остался в живых, бежали в Лаос и Сцидру. Спустя 58 лет после этого изгнанные сибариты при поддержке фессалийцев вновь попытались завладеть своим прежним поселением, но были быстро изгнаны кротониатами. Теперь они обратились за помощью к Спарте и Афинам. У первых не было ни населения, ни торговли, ни честолубия, чтобы удовлетворить амбиции, и они отвергли предложения сибаритских посланников. Но изгнанников в Афинах ждал совсем другой успех. Их предложение, приуроченное к периоду, когда оно было приемлемо для афинской политики (443 г. до н. э.), было реализовано Периклом. Разношерстную группу пополнили искатели приключений со всех концов Греции, но особенно приглашенные из Пелопоннеса: среди них выделялись Лисий, впоследствии прославившийся как ритор [304], и Геродот, историк.

Как в политическом кодексе Греции религиозный характер народа был преобладающим принципом, так и при колонизации божество родительского государства переносило свое поклонение вместе со своими приверженцами, а связь между новой и старой страной выражалась и закреплялась трогательным символом принятия огня из Пританея родного города. Знаменитый прорицатель по имени Лампон [305], чьи священные притязания не уберегли его от насмешек комических поэтов [306], сопровождал эмигрантов (440 г. до н. э.), и оракул продиктовал место для новой колонии рядом с древним городом и у фонтана Турия. Сибариты, с обычным тщеславием людей, чьи предки были более великими, чем они сами, увеличивали свои притязания по мере того, как теряли свою власть; они заявляли о своем превосходстве над своими товарищами, только благодаря мечам которых они снова существовали как народ; претендовали на исключительную монополию главных правительственных должностей и первый выбор земель; и в конце концов были отрезаны теми самыми союзниками, чьей помощи они искали и чье недовольство они вызвали. На смену сибаритам пришли новые авантюристы из Греции, а колонисты Фурий, разделившись на десять племен (четыре - представители объединенных ионийцев, эвбейцев, островитян и афинян, три - пелопоннесцев и три - переселенцев из Северной Греции), мирно владели своей восхитительной территорией и гармонизировали свое пестрое население, приняв просвещенные законы и спокойные учреждения Харондаса. Таким был дом историка Геродота.

ГЛАВА III.

Пересмотр переписи - Саамская война - Очерк развития афинской комедии до времен Аристофана.

I. Поскольку быть гражданином Афин стало предметом почетной гордости и выгоды, естественно, что законы, определяющие и ограничивающие свободу города, должны были стать более строгими. Еще до времен Фемистокла законными [307] считались только те, кто с обеих сторон происходил от афинских граждан. Но, будучи незаконнорожденными, они не лишались прав гражданства; не было серьезным препятствием для карьеры самого Фемистокла и пятно на его рождении. При Перикле закон стал более суровым, и был принят указ (очевидно, в более ранний период его восхождения к власти), который лишал свободы города тех, чьи родители не были оба афинянами. В тот самый год, когда он достиг верховного управления делами, появился повод для приведения закона в исполнение: Псамметих, претендент на египетский престол, послал афинскому народу подарок - кукурузу (444 г. до н. э.); претенденты на долю в даре подверглись испытанию на право гражданства, и не менее пяти тысяч человек были осуждены за то, что обманным путем получили права, которые теперь были равносильны собственности; они были лишены гражданства [308], и весь список свободных граждан сократился до немногим более четырнадцати тысяч. [309]

II. В то время как под управлением этой блестящей и энергичной администрации Афины с каждым днем все больше и больше сосредоточивали на себе неохотное восхищение и растущие опасения Греции, ее политика по отношению к зависимым союзникам вовлекла ее в войну, которая в конечном итоге дала если не законное, то, по крайней мере, признанное право на притязания, которые она взяла на себя. Некоторое время продолжались военные действия между новым населением Милета и олигархическим правительством Самоса; предметом спора был город Приена, объединенный, по-видимому, с соперничающими претензиями на Анею, город на побережье напротив Самоса. Милезийцы, не добившись успеха в войне, обратились за помощью к Афинам. Поскольку саамийцы были в числе зависимых союзников, Перикл от имени афинского народа приказал им передать решение спора Афинам; в ответ на их отказ Перикл лично направил против них экспедицию из сорока галер. Этому вмешательству была придана еще более правдоподобная окраска, чем право диктата; ведь мольбу милезийцев поддержали и одобрили многие из самих саамов, угнетенных олигархическим правительством, которое ими руководило. Нелепое утверждение клеветников комической драмы и врагов Перикла, что война была предпринята по наущению Аспазии, с которой этот министр установил самую тесную связь; но экспедиция была необходимым и неизбежным результатом двойной политики, которой афинское правительство неизменно руководствовалось в своих действиях: во-первых, чтобы утвердить право превосходства над своими союзниками; во-вторых, чтобы заменить олигархические учреждения демократическими. В данном случае Афины также не могли оставаться нейтральными или бездействовать, не ослабив существенно свое влияние на все государства, которые они стремились сразу же демократизировать и управлять ими.

III. Флот прибыл на Самос, олигархическое правительство было свергнуто, сто заложников (пятьдесят мужчин и пятьдесят мальчиков) из его партизан были взяты и размещены на Лемносе, а гарнизон оставлен для обеспечения новой конституции острова. Часть побежденной фракции укрылась на Азиатском континенте, вступила в интригу с персом Писсуфнесом, сатрапом Сардиса; И, продолжая переписываться со своими друзьями на Самосе, добившись попустительства в их попытке, они ночью высадились на Самосе с наемным отрядом из семисот солдат, сумели овладеть афинским гарнизоном и захватить большую часть вождей новой администрации; в то же время, благодаря тайному и хорошо продуманному заговору, они вернули себе заложников, оставленных на Лемносе. Затем они открыто провозгласили свою независимость, восстановили олигархию и, в качестве формального доказательства неповиновения, сдали Писсуфнесу захваченных ими афинян. Византия поспешила присоединиться к восстанию. Союз с Писсуфнесом обеспечил

саамийцам обещанную помощь финикийского флота, и теперь они считали себя достаточно сильными, чтобы возобновить военные действия с Милетом. Их планы были хорошо продуманы, а смелость произвела большое впечатление на враждебные Афинам государства. Среди пелопоннесских союзников разгорелся спор, следует ли, несмотря на договор, помогать саамийцам: мнения разделились, но Коринф [310], возможно, перевесил чашу весов, настаивая на праве каждого государства иметь дело с зависимыми от него государствами. У Коринфа были свои колонии, над которыми он хотел сохранить диктаторскую власть, и он был склонен считать саамскую революцию не столько галантностью свободных людей, сколько предприимчивостью мятежников. К счастью, возможно, для Афин, саамские повстанцы искали союзника в персидском сатрапе; в то время пелопоннесские государства не смогли бы достойно оказать помощь персам против афинского оружия. Но мало времени для размышлений оставалось у правительства, которое обеспечило афинянам репутацию людей, умеющих не только быстро замышлять, но и исполнять, единственных, кто мог одновременно замышлять и приобретать, и которые даже праздник рассматривали лишь как день, в который можно выполнить какое-то необходимое дело [311]. С флотом в шестьдесят парусов Перикл направился на Самос; часть судов была размещена на карийском побережье, чтобы следить за передвижениями ожидаемого финикийского подкрепления; другие были отправлены за помощью на Хиос и Лесбос. Тем временем Перикл, сократившись до сорока четырех кораблей, у небольшого острова Трагия вступил в бой с возвращавшимся из Милета саамским флотом, состоявшим из семидесяти судов, и одержал победу. Затем, усиленный сорока галерами из Афин и двадцатью пятью с Лесбоса и Хиоса, он высадился на острове, разбил саамитян в упорном сражении, загнал их в город, обнес его тройной линией валов и одновременно блокировал город с моря. Осажденные, однако, не были слишком обескуражены, чтобы выступить; под руководством Мелисса, который был одновременно философом и героем, они даже добились преимущества в морском бою. Но эти усилия были достаточно незначительными, чтобы позволить Периклу снять шестьдесят своих кораблей и направиться вдоль карийского побережья навстречу ожидаемому флоту финикийцев. Осажденные не воспользовались предоставленной им возможностью бежать - они застали врасплох морские силы блокады, уничтожили сторожевые корабли и, вступив в бой с остальным флотом, одержали решительную победу (440 г. до н. э.), которая на четырнадцать дней обеспечила им господство в открытом море и позволила доставлять припасы.

IV. В ожидании финикийской эскадры, которая, однако, так и не появилась, Периклу принесли весть об успехе саамитян. Он поспешил назад и возобновил блокаду - на помощь ему были посланы свежие силы: из Афин - сорок восемь кораблей под командованием трех генералов, Фукидида [312], Агнона и Формиона; затем еще двадцать под командованием Тлеполема и Антиклеса, а Хиос и Лесбос предоставили еще тридцать кораблей. Осажденные не пали духом; они решились на еще одну схватку, которая оказалась безрезультатной, а затем, закрывшись в своем городе, выдержали девятимесячную осаду.

Во всех небольших греческих государствах всегда была политика необходимости избегать даже побед, сопряженных с большими потерями. Эта политика была усовершенствована Периклом до научной системы. В данном случае он избегал любых атак, которые могли бы ослабить его силы, и предпочитал потерю времени гибели людей. Утомительная продолжительность блокады вызвала ропот среди оживленных и нетерпеливых войск, которыми он командовал; но, как говорят, он отвлекал время святочными праздниками, которые в средние века часто украшали и смягчали суровый облик войны. Армия была разделена на восемь частей, и по жребию было решено, какая из восьми частей должна на время столкнуться с усталостью настоящей службы; остальные семь провели день в спорте и

пиршествах [313]. В лагерь, по-видимому, пришло множество женщин [314], и один саамский писатель приписывает их благочестию или благодарности последующее возведение храма Венеры. Осада также дала повод Периклу провести эксперимент с военными двигателями, которые, если и были изобретены ранее, то теперь, вероятно, получили механическое усовершенствование. Хотя во время предыдущего поединка взаимная вражда была настолько острой, что пленных с обеих сторон клеймили позором [315], возможно, именно праздничная и легкая манера, в которой проходила осада, смягчила горечь длительных военных действий и позволила, наконец, получить для саамитян более мягкие условия капитуляции, чем обычно. Они приняли условия разрушить свои укрепления, отдать свои корабли и выплатить частями часть расходов на осаду [316]. Византия, которая, командуя входом в Эвксинский канал, была для афинян самым важным владением [317], будь то из честолюбия или для торговли, в то же время без сопротивления приняла выдвинутые ей условия и вновь стала подвластной Афинской империи.

V. По возвращении Перикл был принят с энтузиазмом, который свидетельствовал о том, что он осознавал ценность своего завоевания. Он произнес погребальную речь по павшим на войне. [Когда он сошел с трибуны, женщины столпились вокруг него и осыпали красноречивого победителя филенными частями. Одна лишь Эльпиника, сестра Цимона, не разделяла всеобщего энтузиазма. "Разве эти деяния, - сказала она Периклу, - достойны чаш и гирлянд? Деяния, приобретенные ценой гибели многих доблестных граждан, - не выигранные у финикийцев и медяков, как при Кимоне, а разрушенные городом, объединенным с нами дружбой и происхождением". Готовый министр ответил на инвективы Эльпиники строкой из Архилоха, которая, указывая на возраст и кокетство дамы, вероятно, отвечала ораторской цели обеспечить смех на своей стороне. [319]

В то время как эти события подтверждали авторитет Афин и афинского правительства, внутри города выросла сила, которая присвоила себе право, грубое утверждение которого за стенами города было бы глубоко прочувствовано и горько возмущено, - сила, которая сурово и насмешливо осуждала сами Афины, их законы, их свободы, их могущественных полководцев, ее ученым государственным деятелям, ее поэтам, ее мудрецам и ее высокомерной демократии - сила, которая дошла до чужих народов и далеких веков как вооруженная неотразимым оружием, которой теперь позволено давать показания не только против отдельных людей, но и против самих народов, но которая в то время была не более эффективна в практических результатах, чем в наши дни карикатура на Сент-Джеймс-стрит или карикатура, нарисованная на улице Св. James's-street или карикатура в еженедельной газете, - сила, которая подвергала безжалостному осмеянию перед самым восприимчивым и многочисленным трибуналом самые высокие имена по рангу, мудрости и гению и которая не могла лишиться нищего его оболы или мусорщика его должности: **ВЛАСТЬ КОМИЧЕСКОЙ МУЗЫ**.

VI. Мы видели, что на ранних деревенских праздниках, из которых выросла трагедия Фриниха и Эсхила, кроме дифирамбов и сатиров, были и фаллические шествия, которые разнообразили церемонию самыми низкими шутками, смешанными с самой дикой сатирой. Как ее трагедия возникла из дифирамба, как ее сатирическое послесловие - из сатирических буффонад, так из фаллических процессий возникла Комедия Греции (562 г. до н. э.) [320]. Сусарион, как утверждают некоторые, был мегарцем по происхождению; и пока демократия Мегары была еще в силе, он, похоже, превратил беспорядочное веселье процессии в грубый фарс, перемежающийся старыми хоровыми песнями. Тесная связь между Мегарой и Афинами вскоре послужила передаче последним усовершенствований Сусариона; и эти

усовершенствования принесли мегарянину титул изобретателя комедии примерно с той же справедливостью, с какой подобная степень искусства принесла позднему Феспису звание родоначальника трагедии. Изучение гомеровских эпосов подсказало трагедии ее истинный удел; изучение маргиан, также приписываемых Гомеру, похоже, определило и расширило область комедии. Через одиннадцать лет после появления Фриниха и незадолго до первых попыток Эсхила (500 г. до н. э.) Эпихарм, который, по-видимому, был уроженцем Коса [321], создал в Сиракузах самую раннюю симметричную и систематическую форму комического диалога и басни. По всем свидетельствам, он был человеком необычайного гения и очень вдумчивым и утонченным. Возможно, утрата его произведений - не самое меньшее из тех бесценных сокровищ, которые уничтожило время. Так неопределенен, в конце концов, великий трибунал потомков, на который зачастую так же мало можно положиться, как и на капризы уходящего дня! У нас есть никчемная "Электра" Еврипида, мы потеряли все, кроме названий и нескольких остроумных фрагментов, из тридцати пяти комедий Эпихарма! И все же, если Гораций верно сообщил нам, что сиракузский поэт был образцом Плавта, возможно, в "Амфитрионе" мы сможем проследить жилку и гений отца истинной комедии; а мысли и сюжет утраченного Эпихарма, возможно, все еще существуют, изуродованные и замаскированные, в юморе величайшего комического поэта [322] современной Европы.

VII. Эпихарм черпал свои басни в основном из богатых запасов мифологии; но то, что было возвышенностью у трагического поэта, было бурлеском у комического. Он пародировал величественные личности и достопамятные приключения богов греческого пантеона. По удивительному совпадению, как и его современник Эсхил [323], он был пифагорейцем, и удивительно наблюдать, как быстро и как мощно влияние таинственного Самиана действовало на самые оригинальные умы эпохи. Привычный характер эллинской религии допускал даже в нефилофский век Гомера такое отношение к небесным персонам, которое, по нашим современным представлениям, на первый взгляд свидетельствовало бы о неуважении к самой религии. Но где бы ни допускалось почитание "мертвецов", даже в наше время мы можем обнаружить, что к именам, вызывающим самый благоговейный трепет, прилагаются самые шуточные легенды. И тот, кто слушал знакомые рассказы ирландского или итальянского католика о каком-нибудь любимом святом, может составить адекватное представление о том, как благочестивый грек мог сегодня шутить над Вакхом, а завтра приносить ему жертвы. К своим мифологическим пародиям пифагореец примешивал, по-видимому, множество серьезных моральных наставлений [324], и хотя он не был свободен, по мнению Аристотеля, от порока стиля, свойственного обычно только самым утонченным эпохам [325], он все же был известен, даже в самый отточенный период греческой письменности, изяществом своей дикции и счастливым выбором выражений.

Формис, современник Эпихарма, также процветал в Сиракузах, и хотя его иногда причисляют к Эпихарму и он черпает материалы из того же источника, его претензии на репутацию неизмеримо более неопределенны. Динолох продолжил сицилийскую школу и был современником первого афинского комического писателя.

VIII. Отсюда видно, что происхождение комедии не принадлежит афинянам; что Мегара, если она была родиной Сусариона, может справедливо претендовать на все заслуги, принадлежащие первому грубому усовершенствованию, и что Сиракузы имеют право на более высокое отличие, возведя юмор в искусство. Таким образом, комедия - это детище дорийцев, не дорийцев угрюмой олигархии, для которых варьировать музыку было преступлением, не дорийцев Лакедемона, а Мегары и Сиракуз, энергичной, хотя и нерегулярной демократии, великолепной, хотя и незаконнорожденной монархии. [326]

Но комедия Эпихарма не была в полной мере старой афинской комедией. Последняя, завещанная нам Аристофаном, имеет черты, мало напоминающие философские пародии пифагорейского поэта. Она не ограничивается мифологическими сюжетами, избегает сентиментального стиля, не проповедует, а высмеивает философию, погружается в великие практические дела людей, дышит Агорой и Пиреем, представляет собой не смеющегося мудреца, а смелого, шумного, гигантского демагога, постоянно находящегося в самой гуще людских интересов и орудующего всеми различными юморами демократии с блестящей дерзостью и той безрассудной легкостью, которая является доказательством его паразитической силы.

IX. Хионид был первым афинским комическим писателем. Мы видим его перед публикой через три года после битвы при Марафоне (487 г. до н. э.), когда окончательное поражение Гиппия утвердило стабильность республики и когда усовершенствования Эсхила в трагедии послужили новым стимулом для комической сцены. За ним последовал Магнес, писатель большого остроумия и давно популярный, и названия некоторых пьес этих авторов подтверждают мнение, что аттическая комедия с самого начала своего существования занимала иную почву, чем та, которую занимали мифологические бурлески Эпихарма. Новый вид искусства получил столь мощный импульс, что за ним одновременно последовала целая толпа писателей, чьи имена утомительно упоминать. Самыми выдающимися из них были Кратин и Кратес. Самая ранняя из *записанных* пьес Кратина, хотя он, должно быть, выставлял их много и раньше [327], появилась за год до смерти Кимона (Архилохи, 448 г. до н. э.). Плутарх приводит несколько строк из этого автора, в которых упоминается о либеральности Кимона с чем-то вроде того меценатского духа, который был скорее характерен для римского, чем для афинского поэта. Хотя сам он, несмотря на свой возраст, по преданию, не отличался особой воздержанностью и благопристойностью, Кратин был неустрашим в своих нападках на других, и везде, где он находил или подозревал порок, он видел предмет, достойный его гения. Позднее потомки и римские критики восхищались изяществом и даже величию его жестких стихов, а Квинтилиан ставит его в один ряд с Евполисом и Аристофаном как образец для создания ораторов. Кратес появился (451 г. до н. э.) за два года до первой *записанной* пьесы Кратина. До этого он был актером и исполнял главные роли в пьесах Кратина. Аристофан удостоивает его редкой чести похвалы, саркастически напоминая афинской публике о плохом приеме, который часто оказывали столь гениальному поэту. Однако, несмотря на превосходство ранних комических писателей, они до сих пор в Афинах очень скупно пользовались артистическими грациями Эпихарма. Аристотель утверждает, что Кратес, который не писал до пятилетнего перемирия со Спартой, был не только первым, кто отказался от ямбической формы комедии, но и первым афинянином, который придумал систематическую басню или сюжет - сильный аргумент, показывающий, как мало афиняне заимствовали из сицилийской комедии, поскольку, если бы последняя была источником вдохновения, придуманные истории Эпихарма (на полвека предшественника Кратеса), естественно, были бы самым ярким улучшением, которому следовало бы подражать. Афинская комедия не получила тех же отличий, что и трагедия. Ее становление было настолько неясным, что даже Аристотель не смог определить, когда и кем были сделаны различные прогрессивные усовершенствования; и, рассматриваемая ревнивыми или равнодушными глазами магистратуры как выставка, устроенная частными конкурентами, и призывающая к защите государства, которой она часто пренебрегала, ее хор долгое время финансировался за государственный счет.

Однако при Кратине и Кратесе [328], в год Самианской войны, комическая драма приобрела характер либо настолько лично мерзкий, либо настолько политически опасный, что был принят указ, запрещающий ее показ (440 г. до н. э.). Закон был отменен через три года после этого (437 г. до н. э.) [329]. Учитывая временное исполнение закона и дату его принятия, представляется весьма вероятным, что причиной его принятия могли стать критические события, связанные с Самийской экспедицией. В такое время противодействие комических писателей могло считаться опасным. С ростом стабильности государства закон, возможно, был признан ненужным. И с возобновлением комической драмы мы, вероятно, можем датировать как усовершенствования Кратеса, так и особую защиту государства; ведь когда впервые комедия была официально разрешена законом, естественно, что закон должен был признать привилегии, на которые она претендовала вместе со своей сестрой трагедией. Нет никаких оснований полагать, что Перикл, чей спокойный нрав и долгое участие в бурной общественной жизни, похоже, сделали его черствым к публичным оскорблениям, был автором этого указа. Действительно, весьма вероятно, что он отсутствовал при осаде Самоса [330], когда он был принят; но он был объектом столь яростных нападок со стороны комических поэтов, что мы могли бы считать их движимыми каким-то личным чувством мести и злобы, если бы не было очевидно, что Кратин, по крайней мере (и, вероятно, Кратес, его ученик), был привязан к памяти Кимона и не мог не быть враждебным к принципам и правительству преемника Кимона. В этот период комедия продвинулась далеко вперед; но на заднем плане, в неясности и мечтах, находился тот, кому еще в детстве было суждено возвыситься комическое до ранга трагической музыки; тот, кого, возможно, с ранней юности подстрекала шумная слава его предшественников и желание той славной, но часто извращенной власти, столь ощутимой и столь ликующей, которая оседлала бурные волны народного рукоплескания [331]. Примерно через тринадцать лет после кратковременного запрета комедии появился этот удивительный гений, элементы и атрибуты произведений которого будет приятной, хотя и трудной задачей в свое время проанализировать и определить; несравненный как в деликатности, так и в силе, в силах самых гигантских, в целях самых смелых - с выдумкой Шекспира, игривостью Рабле, злобой Свифта - нужно ли мне добавлять имя Аристофана?

Х. Но пока комедия дошла до своего первого оскорбительного достоинства - запрета, - совсем другой была награда, ожидавшая нынешнего представителя и мастера трагической школы. В тот год, когда затихла муза Кратина, Софокл был назначен одним из соратников Перикла в Саамской войне.

ГЛАВА IV.

Трагедии Софокла.

I. В самой природе афинской драмы было заложено, что, утвердившись, она должна была сконцентрировать и поглотить почти все разновидности поэтического гения. Старая лирическая поэзия, никогда особо не культивировавшаяся в Афинах, в значительной степени прекратилась с возникновением трагедии, или, скорее, трагедия стала полным развитием, новым и совершенным завершением дифирамбической оды. Лирическая поэзия трансформировалась в хоровую песню, как эпос слился с диалогом и сюжетом драмы. Таким образом, когда мы говорим об афинской поэзии, мы говорим о драматической поэзии - они были одним и тем же. Как ярко показал Гельвеций [332], гений всегда обращается к той стороне, где слава сияет ярче всего, и поэтому в каждую эпоху существует симпатическая связь между вкусом публики и направлением таланта.

В Афинах, где зрителей было много, а читателей мало, каждый, кто чувствовал в себе вдохновение поэта, непременно желал увидеть его поэзию в действии - со всей пышностью зрелищ и музыки, освященную торжественностью религиозного праздника и вдохнутую артистами, тщательно обученными усиливать красноречие слов в благоговейное ухо собравшейся Греции.

Отсюда множество драматических поэтов, отсюда могучая плодovitость каждого из них, отсюда жизнь и активность этого вида поэзии по сравнению со сравнительным оцепенением и бесплодием всех остальных видов поэзии. Чтобы усилить превосходство искусства, аплодисменты многих были одобрены критическими канонами немногих. Драма была не только самой манящей формой, которую мог принять божественный дух, но и считалась самой возвышенной и чистой; и когда Аристотель ставил [333] трагическую музу выше даже эпической, он, вероятно, лишь объяснял причины предпочтения, которое ей отдавало большинство критиков. [334]

II. Карьера самого величественного из греческих поэтов была необычайно удачной. Его рождение было благородным, состояние - богатым; его природные дары были самыми редкими, которыми природа наделяет человека, - гений и красота. Все заботы, которые позволяла эпоха, были направлены на его образование. Для его ног были сглажены даже обычные препятствия на пути к выдающемуся положению. Он вступил в жизнь при самых благоприятных и поэтических обстоятельствах. В шестнадцать лет он возглавил отряды юношей, исполнявших триумфальный гимн вокруг трофея в Саламине. В двадцать пять лет, когда кости Тесея везли в Афины на галере победителя Кимона, он выставил свою первую пьесу и получил приз от Эсхила. Этот надменный гений, то ли возмущенный успехом младшего соперника, то ли судом за нечестивость в Ареопаге, которому он был подвергнут (хотя и оправдан), то ли стремительным возвышением популярной партии, которую он, похоже, презирал с презрением евпатрида и пифагорейца, вскоре после этого удалился из Афин к сиракузскому двору; И хотя после этого он послал несколько своих драм на афинскую сцену [335], отсутствующий ветеран не мог не вызвать меньшего энтузиазма, чем молодой претендент, чей искусный и отполированный гений был более созвучен царствующему вкусу, чем огромное, но суровое величие Эсхила, который, возможно, из-за невозможности ощутимо и зримо показать свои тенистые титаны и неясную возвышенность замысла, не получил на сцене популярности, равной его славе как поэта [336]. В течение трех и шестидесяти лет Софокл продолжал участвовать в выставках; двадцать раз он получал первую премию и, как говорят, никогда не опускался до третьей. Обычные гонения зависти, похоже, не щадили этого удачливого поэта. Хотя его моральный облик был далеко не чист [337], и даже в глубокой старости он стремился к удовольствиям юности [339], его излишества, по-видимому, встречали удивительное снисхождение со стороны современников. Ему не были известны ни мучения Эсхила, ни безжалостные насмешки Еврипида. На его честном имени не ставит клейма сам ужасный Аристофан [339]. Сладость его гения действительно распространялась на его нрав, а личная популярность помогала его общественным триумфам. Не похоже, чтобы он остро разделял партийную вражду своего времени; в его спокойствии, как и в спокойствии Гете, есть что-то завидное, а не почетное равнодушие. Своим первым отличием он был обязан Кимону, а затем служил при Перикле; выйдя в жизнь, он возглавил молодежь, обступившую трофей греческой свободы, и на пороге смерти мы увидим его спокойное согласие на отказ от афинских свобод. Короче говоря, Аристофан, возможно, смешал больше правды, чем обычно, со своим остроумием, когда даже в нижних тонах говорит о Софокле: "Он был доволен здесь - он доволен там". Столь легкий нрав, соединенный с восхитительным гением, нередко совершает чудо и примиряет процветание со славой. [340]

В возрасте пятидесяти семи лет Софокл, как я уже говорил [341], был назначен одним из десяти полководцев на Самийскую войну; но история умалчивает о его военном гении [342]. В более поздней жизни мы еще не раз будем иметь случай обратиться к нему, осужденному на то, чтобы проиллюстрировать (после беспрецедентно блестящей карьеры, никогда не подвергавшейся капризам простой публики) меланхоличную мораль, привитую им самим [343] и так часто навязываемую нам драматургами его страны: "Никогда не считать человека счастливым, пока сама смерть не отринет опасность поражений". Из огромного, хотя и не совсем точно известного числа драм Софокла осталось семь.

III. Большую ошибку совершают те, кто объединяет Эсхила и Софокла как принадлежащих к одной эпохе и относит обоих к веку Перикла, потому что каждый из них жил в то время, когда Перикл был у власти. С таким же успехом можно отнести к одной эпохе доктора Джонсона и лорда Байрона, потому что оба жили в царствование Георга III. Афинские соперники сформировались под влиянием совершенно разных поколений; и если Эсхил пережил значительную часть карьеры младшего Софокла, случайность долголетия отнюдь не дает нам основания считать их детьми одного возраста - порождениями одних и тех же влияний. Эсхил принадлежал к расе и периоду, из которого вышли Фемистокл и Аристид, Софокл - к тем, которые породили Фидию и Перикла. Софокл, действительно, по спокойствию своего нрава, симметрии и статности своего гения может быть назван почти Периклом поэзии. И как этого государственного деятеля называли олимпийцем не за буйство, а за безмятежное величие его силы, так и о Софокле можно сказать, что его мощь видна в покое, а его громы раздаются из глубины ясного неба.

IV. Век Перикла - век искусства [344]. Не один Софокл был художником того времени; он был лишь одним из многих, кто в каждой области искал, изучая и изучая науки, секреты мудрых или прекрасных. Перикл и Фидий были на своих путях славы тем же, чем был Софокл на своем. Но это не было искусством безвольного или слабоумного периода - оно выросло на примере предыдущего поколения людей, поразительно великих. Это было искусство, еще не вышедшее из природных колодезев. Искусство с огромным, еще не исследованным полем, во всей своей юношеской силе и девичьем энтузиазме. Правда, в период, несколько более поздний, чем тот, в который сформировался гений Софокла, существовал класс студентов, среди которых уже были заметны ложный вкус и напускная утонченность - класс риторов и философских спекулянтов. Ибо, в самом деле, искусство, принадлежащее воображению, часто бывает наиболее чистым в раннем возрасте; но то, что относится к разуму и интеллекту, медленно развивается, прежде чем достигнет зрелой силы и мужественного суждения. Среди этих учеников был рано воспитан и обучен вдумчивый ум Еврипида; и поэтому то искусство, которое в Софокле было усвоено в более разношерстных и активных кругах и сформировано более мощным воображением, в Еврипиде часто вызывает у нас тошноту уловками просителя, придирками школьника или тупостью морализирующего декламатора. Но поскольку по особым свойствам и характеру своих произведений Еврипид несколько опередил свою эпоху, поскольку его пример оказал очень большое влияние на его преемников, поскольку он не выставлялся до тех пор, пока слава Софокла не была уже утверждена, и поскольку его имя тесно связано с более поздней эпохой Аристофана и Сократа, возможно, будет удобнее ограничить наше критическое рассмотрение в настоящее время трагедиями Софокла.

Хотя три пьесы - "Эдип Тиран", "Эдип в Колонее" и "Антигона" - были написаны и поставлены с очень большим интервалом во времени, тем не менее, исходя из их связи друг с другом, можно сказать, что они почти образуют одну поэму. Антигона, завершающая историю, была написана раньше всех; и в "Эдипе" есть отрывки, которые, кажется, созданы для того, чтобы

как бы подвести к катастрофе "Антигоны", и образуют гармоничную связь между несколькими драмами. Эти три пьесы в целом представляют собой величайшее произведение Софокла, хотя в отдельных частях им уступают отрывки из "Аякса" и "Филоклетета".

V. Эдип Тиранн" открывается так. Страшный мор опустошает Фивы. Перед нами предстает царь Эдип, могущественный и любимый; к тому, чья мудрость возвела его на трон, обращаются жрец и сторонники в поисках лекарства даже среди ужасов чумы. Эдип сообщает им, что отправил Креона (брата своей жены Иокасты) к пифийскому богу, чтобы узнать, каким искупительным поступком можно избавить город от проклятия. Едва он закончил, как входит сам Креон и сообщает "радостную весть" в ясном ответе оракула. Бог объявил, что на земле расплодился зараза, которую нужно изгнать из города, что Лаий, бывший царь, был убит и что его кровь должна быть отомщена. Лаий покинул город, чтобы никогда не вернуться; из его поезда вырвался только один человек, чтобы сообщить о его смерти от рук убийц. Эдип немедленно решает провести расследование убийства и приказывает созвать народ. Приверженцы поднимаются от алтаря, и торжественный хор фиванских сенаторов (в одном из самых великолепных текстов Софокла) воспевают ужасы чумы - "этот безоружный Марс" - и умоляет о защите божественных провозвестников гибели. Затем Эдип, обращаясь к хору, просит их помочь найти убийцу, которого он торжественно отлучает от церкви и обрекает, лишив помощи и общения, влачить жалкое существование; если же убийца укрылся в царских покоях, то и там его постигнет возмездие и проклятие.

"Ибо я, - продолжал Эдип,

"Я, кто скипетр, который он держал, держу;
Я, кто взошел на его брачное ложе;
Я, чьи дети (если бы он знал об этом)
Его бы взывал к общему братству";
Теперь, когда злая судьба постигла его.
Я наследник мести того мертвого короля,
Не меньше, чем если бы эти губы назвали его отцом!"

Еще несколько фраз знакомят нас со старым прорицателем Тиресием, к которому по наущению Креона отправился Эдип. Прорицатель отвечает на предложение царя волнующей и зловещей вспышкой: "Во-во!

"Во-во! Как страшен дар мудрости,
когда мудрым он не приносит благословения!

Надменный дух Эдипа разрывается от мрачных и туманных предостережений пророка. Его упреки перерастают в угрозы. В своей слепоте он даже обвиняет самого Тиресия в убийстве Лаия - и тут грозный прорицатель произносит:

"Так ли это? Оставайся с проклятием своим
И торжественный указ - никогда с этого дня
Не общайся ни с этими людьми, ни со мной;
Где ты стоишь, там и я, загрязнитель земли!"

Далее следует диалог большой драматической силы. Эдип обвиняет Тиресия в пособничестве своему родственнику Креону, которого он уговорил послать за прорицателем, в заговоре против его трона, и провидец, который ничего не объясняет и всем угрожает, уходит с тусклым и страшным пророчеством.

После песни хора, в которой запечатлены сомнения, беды, ужас, которые могут начать испытывать зрители - и здесь следует заметить, что у Софокла хор всегда продолжает не физический, а моральный ход драмы [345], - входит Креон и сообщает о подозрениях против себя, которые высказал Эдип. Эдип, весь дух которого взбудоражен странными и мрачными угрозами Тиресия, повторяет обвинение, но дико и слабо. Его суетная житейская мудрость подсказывает ему, что Креон вряд ли попросил бы его посоветоваться с Тиресием, а Тиресий не решился бы на столь грандиозные обвинения, если бы эти двое не сговорились против него: однако таинственный трепет охватывает его - он настойчиво расспрашивает Креона об убийстве Лая и, кажется, больше хочет оправдать себя, чем обвинить другого.

Пока царевичи спорят, входит царица Иокаста. Она пресекает их ссору, узнает от Эдипа, что Тиресий обвинил его в убийстве умершего царя, и, чтобы убедить его в ложности пророческих преданий, открывает ему, что давно было предсказано, что Лая убьет его сын, общий отпрыск Иокасты и его самого. Однако, чтобы не сбылось пророчество, единственный сын Лая был брошен на погибель в одиноких и безлюдных горах, а сам Лай в последующие годы пал в месте, где сходятся три дороги, от руки незнакомца; так что пророчество не сбылось.

При этих словах Эдипа охватывает ужас. Он с нетерпением и быстро расспрашивает Иокасту о месте убийства, о времени, когда оно произошло, о возрасте и внешности Лаия, и когда он все узнает, его прежняя высокомерная уверенность в невинности покидает его; когда он произносит ужасное восклицание, Иокаста устремляет на него свой взгляд и "содрогается, глядя на него". [346] Он спрашивает, какой поезд сопровождал Лаия, и узнает, что их было пять человек, что только один спасся, что по возвращении в Фивы, увидев Эдипа на троне, оставшийся в живых просил его удалиться из города. Эдип приказывает послать за этим свидетелем убийства, а затем начинает рассказывать свою историю. Его научили верить, что его родителями были Полиб из Коринфа и Мероп из Дориды. Но однажды на пиру его обвинили в том, что он - мнимый ребенок; оскорбление задело его, и он отправился в Дельфы, чтобы посоветоваться с оракулом. Ему было предсказано, что он совершит кровосмешение со своей матерью, а его отец падет от его руки. Пораженный и охваченный ужасом, он решает бежать от возможного исполнения пророчества и больше не возвращаться в Коринф. В своем бегстве по тройной дороге, описанной Иокастой, он встречает старика на колеснице, с проводником или глашатаем и другими слугами. Они пытаются оттеснить его с дороги, происходит поединок, и он убивает старика и его повозку. Может быть, это Лаий? Может быть, он взошел на брачное ложе убитого им человека? Нет, его страхи слишком доверчивы! Он цепляется за соломинку: пастух, спасшийся от расправы над Лаем и его приближенными, может доказать, что это *не* тот царь, с которым он столкнулся. Иокаста поддерживает эту надежду - она не может поверить пророчеству, ведь было предсказано, что Лаий падет от руки своего сына, а тот уже давно погиб в горах. Царица и Эдип удаляются в свой дворец, хор возобновляет свои песнопения, после чего Иокаста вновь появляется на пути в храм Аполлона, чтобы принести жертву и помолиться. В это время прибывает гонец, чтобы сообщить Эдипу о смерти Полиба и о желании коринфян избрать Эдипа на трон! Иокаста обрадовалась этой новости.

"Предсказания богов, где вы теперь?

Чтобы от гибельной руки сына не пал государь,

Сын стал скитальцем на земле,
Но не сын, а природа нанесла удар!"

Эдип, вызванный к вестнику, узнает новость о смерти своего предполагаемого отца! Это страшная и трагическая мысль, но благочестивый Эдип рад, что его отца больше нет, ведь таким образом он сам спасся от отцеубийства; однако другая часть предсказания преследует его. Его мать! Она еще жива. Он рассказывает вестнику о пророчестве и своем ужасе. Чтобы подбодрить его, вестник сообщает ему, что он не сын Мeroпы и Полиба. Младенца нашел в запутанных лесных дебрях Цитаэрона пастух и раб Лая - он отдал младенца другому, тому самому вестнику, который сейчас рассказывает эту историю. Переданный на попечение Полиба и Мeroпы, младенец стал для них сыном, ибо они были бездетны. Иокаста слушает, ошеломленная и потерявшая дар речи, пока Эдип, еще не осознавая грядущих ужасов, не обращается к ней с вопросом, не знает ли она пастуха, нашедшего ребенка. Тогда она, задышавшись, произносит.

"О ком он говорит? Молчи, не слушай.

Вычеркни это из своей памяти! Это зло!

Эдип. Этого не может быть - ключ здесь; и я

Проведу его через лабиринт - мое рождение.

Иокаста. Клянусь всеми богами, я предупреждаю тебя; ради

Жизни своей остерегайся; достаточно

Чтоб я услышал и обезумел!"

Эдип (подозревая лишь, что гордость его царицы восстает от мысли, что рождение ее мужа окажется подлым и подневольным) отвечает,

"Нет, нет, не унывай!

Будь я через три рода трижды раб,

Не коснулся бы тебя мой позор".

Иокаста. Я умоляю тебя,

Повинуйся мне один раз, один раз.

Эдип Не послушаюсь!

К истине я ищу свой путь.

Иокаста. И все же какая любовь

Говорит в моем голосе! Невежество твое - блаженство твое.

Эдип. Блаженство, которое мучает!

Иокаста. Несчастный человек!

О, неужели ты никогда не узнаешь, что ты такое!

Эдип. Никто не ускорит шагов этого медлительного пастуха.

Непререкаемое право царского имени

Пусть владеет эта гордая царица!

Иокаста. О! О! Ты негодяй!

О, мое последнее слово! Слова больше не для меня!"

С этими словами Иокаста бросается прочь со сцены. Но Эдип не понимает ее предупреждения; он приписывает ее страхи царственности ее духа. Для него самого Фортуна была его матерью и благословила его; случайность рождения не могла уничтожить его наследство от природы. Хор уступает их надеждам: их мудрый, их славный Эдип мог

родиться фиванцем! Входит пастух: как и Тиресий, он не хочет говорить. Пылкий царь выпытывает у него тайну. Эдип - сын Лая и Иокасты; при его рождении страшные пророчества пифии побудили его собственную мать выставить его в горах; сострадание пастуха спасло его - спасло, чтобы он стал женихом своей матери, убийцей своего отца. Удивительное искусство, с которым, шаг за шагом, зрители и жертва подводятся к кульминации открытия, вызывает интерес к пафосу и ужасу, равного которому нет в величайших шедеврах современной сцены [347], и обладает тем видом тревожного волнения, который совершенно не имеет аналогов в древности. Открытие - настоящая катастрофа, физическая развязка - лишь дополнение к моральной. Иокаста, покинув сцену, направилась прямо в комнату невесты и там, у дивана, от которого произошло двойное и проклятое потомство, погибла от собственных рук. Тем временем predetermined отцеубийца, ворвавшись в покои, увидел, как последний предмет на земле, труп своей жены и матери! И снова появляется Эдип, навсегда закрытый от света дня. В ярости раскаяния он "поразил шары собственных глаз", и мудрый противник сфинкса, Эдип, надменный, дерзкий, прославленный, становится несчастным и отчаявшимся изгоем. Но среди всего ужаса заключительной сцены пробивается прекрасный и смягчающий свет. Слепой, бессильный, отлученный от церкви Креон, которого Эдип обвинил в убийстве, теперь стал его судьей и господином. Великий дух, раздавленный невыносимыми бедами, повержен в прах, а "мудрейший из людей" просит лишь о двух милостях - быть изгнанником и еще раз обнять своих детей. Даже в переводе изысканная нежность этого отрывка не может не произвести должного эффекта.

"За судьбу мою, пусть она пройдет! Мои дети, Креон!
Мои сыновья - да, они горькие потребности жизни
Пусть хозяин - они МУЖЧИНЫ? Мои девочки, мои милые...
Никогда не сидел я за домашним столом
Без их благословенных взглядов - наш хлеб.
Мы вместе тормозим; будь же добр к ним.
Ради меня, Креон, и (о, последняя молитва!)
Дай мне только прикоснуться к ним, ощутить их этими руками,
И излить печаль прощальную.
Над бедами, что должны быть их! По чистой линии твоей...
Ибо тонкое чисто - сделай это, милый принц. Я думаю,
Я не должен скучать по этим глазам, если бы только мог прикоснуться к ним.
Что мне сказать, чтоб вас тронуть?
Рыдания! И я рыдаю,
О, слышу ли я, мои милые? Послал ли ты,
По милости своей послал детей мне на руки?
Говорите, говорите, я не сплю!
Креон. Они - дети твои;
Я не отвращу тебя от дорогих наслаждений.
В былые времена они дарили тебе.
Эдип. Благословляю тебя
За эту милость найдешь ты выше
Более доброго Бога, чем я. Где вы?
Дети мои, придите! Ближе и ближе" и т. д.

Пафос этой сцены сохраняется до конца, и последние слова, которые Эдип произносит, когда его дети прижимаются к нему, содержат мольбу о том, чтобы их хотя бы не отрывали.

Именно в этой заключительной сцене искусство пьесы достигает своего совершенства; ужасы катастрофы, которые, будучи последним впечатлением, оставили бы после себя слишком болезненное и мрачное чувство, смягчаются этим прекрасным обращением к самым нежным и святым источникам эмоций. И пафос становится вдвойне действенным не только благодаря непосредственному контрасту с предшествующим ужасом, но и благодаря мастерству, с которым все проявления более мягких черт в характере Эдипа сдержаны до самого конца. В разрушении сильного ума и смелого духа, когда империя, честь, имя - все уничтожено, сердце, как бы выживая на обломках вокруг себя, цепляется за привязанности.

VII. В "Эдипе в Колонее" слепой царь предстает перед нами, по прошествии лет, странником по земле, бессознательно нашедшим убежище в роще фурий [348]- "ужасных богинь, дочерей земли и тьмы". Его юная дочь Антигона, одно из самых прекрасных творений поэзии, является его спутницей и проводником; впоследствии к нему присоединяется другая дочь, Исмена, чей слабый и эгоистичный характер рисуется в сильном контрасте с героизмом и преданностью Антигоны. Древние пророчества, предсказывавшие его беды, предрекали и его освобождение. Последний приют и пристанище он должен был получить от грозных божеств, и знамение грома, землетрясения или молнии должно было возвестить о его прощальном часе. Узнав место, к которому вели его шаги, Эдип торжественно ощущает приближение своей гибели: так, в самом начале поэмы он стоит перед нами на пороге таинственной могилы.

Страдания, склонившие отцеубийцу к преждевременной старости [349], не сломили его дух; мягкость и самоуничижение, которые были первыми результатами его ужасного несчастья, прошли. Он снова стал пылким и страстным от чувства несправедливости; угрызания совести все еще посещают его, но чередуются с более человеческим чувством негодования на несправедливую суровость его судьбы [350]. Его сыновья, которые "одним словом" могли бы спасти его от изгнания, нищеты и скитаний, покинули его дело, равнодушно взирали на его ужасные беды, объединились с Креоном, чтобы изгнать его из фиванской земли. Они - Гонерилья и Регана классического Лира, как Антигона - Корделия, на которую он опирается, - Корделия, которую он никогда не отталкивал от себя. "Когда, - говорит Эдип в суровой горечи души,

"Когда душа моя кипела во мне, когда "умереть
И смерть была сладостью, да,
Если б только забили меня камнями, как собаку, я бы благословил их;
Тогда никто не восстал против меня, но когда время
Принесло медленное утешенье, Когда раны мои зарубцевались.
Все мои печали утихли, и само раскаяние
Судил, что самопокаянье сильнее моих грехов,
Фивы оттолкнули меня от своей груди, и они, мои сыновья,
Моя кровь, мое потомство, от отца отшатнулись:
Одно их слово спасло меня - одно маленькое слово.
Не сказали они его - и вот, странствующий нищий!"

Тем временем, во время изгнания Эдипа, между братьями начались раздоры: Этеокл, представленный здесь как младший, изгнал Полиника и захватил трон; Полиник укрывается в Аргосе, где готовит войну против узурпатора: оракул объявляет, что успех будет сопутствовать той партии, к которой присоединится Эдип, и таинственное благословение произносится над землей, в которой лежат его кости. Таким образом, обладание этим диким орудием судьбы, возвысившимся с возрастом до страшных и ужасных последствий,

становится аргументом пьесы, как его смерть должна стать катастрофой. Именно глубокая и яростная месть Эдипа составляет страсть всей пьесы. Согласно возвышенной концепции, физический Эдип предстает перед нами в самом низком состоянии обездоленности и нищеты - в лохмотьях, слепоте, попрошайничестве, полном и крайнем бессилии. Но в моральном плане Эдип - это все величие царской власти. Оракул наделил человека, столь падшего и жалкого в себе, властью бога - властью даровать победу делу, которое он берет на себя, процветание земле, которая станет его могилой. Со всей мстительностью возраста, со всей великой злобой ненависти он цепляется за эту тень и реликвию скипетра. Креон, узнав о прорицании, приходит отозвать его в Фивы. Коварный родственник смиряется перед своей жертвой - нищим, который бросает ему вызов и отвергает его. Креон мстит за себя, схватившись с Антигоной и Исменой. Ничто не может быть более драматичным, чем сцена, в которой у опустевшего старика отрывают эти последние реквизиты его возраста. В конце концов их возвращает ему Тесей, чей приятный и возвышенный характер нарисован со всем пристрастным блеском красок, который афинский поэт, естественно, придал бы афинскому Альфреду. Далее мы знакомимся с Полиником. Он, как и Креон, искал Эдипа с корыстным мотивом вернуть себе трон с помощью союзника, которому оракул сулит победу. Но в Полинике чувствуется истинное раскаяние, а в его поведении сочетаются мягкость и величие, которые заинтересовывают нас в его судьбе, несмотря на его недостатки, и которые, возможно, были задуманы Софоклом, чтобы придать новый интерес сюжету "Антигоны", сочиненному и выставленному задолго до этого. Благосклонность Тесея и сладостное заступничество Антигоны уговаривают Эдипа признать своего сына. После песнопений хора о недугах старости [351] входит Полиникс. Его поражает истощенный и жалкий вид старика, и он горько упрекает себя в том, что сам был покинут.

"Но раз уж, - говорит он почти с христианским чувством, - то...

"С тех пор как над каждым поступком, на олимпийском троне
Милосердие сидит вместе с великим Джовом,
Пусть и она, о отец, займет свой пост
В душе твоей и суди меня! Прошлые грехи
все же излечимы - ах, если бы они вспомнились!
Почему ты молчишь? Поговори со мной, отец мой?
Не отворачивайся - не ответишь ли ты мне?" и т. д.

Эдип молчит, несмотря на мольбы своей возлюбленной Антигоны, и Полиник начинает рассказывать об обидах, нанесенных ему Этеоклом, и, пылая пылом молодого воина, расписывает собранное им войско, обещает вернуть Эдипа во дворец и, ссылаясь на оракула, взывает к отцу о помиловании.

Затем, наконец, Эдип пересиливает себя и от упрека разражается проклятиями.

"А теперь ты плачешь; ты не плакал над этими бедами
Пока не выплакал свое собственное. Но я не плачу.
Это не для слез, а для стойкости.
Мой сын похож на своего отца - отцеубийца!
Труд, изгнание, нищенство, хлеб насущный
Из чужих рук - вот твои дары, сын мой!
Мои кормилицы, опекуны - те, кто разделяет нужду,
или зарабатывают на хлеб, - это дочери; не называй их
женщинами, ибо они для меня - мужчины. Уходи!

Ты не моя, я отказываюсь от такого вопроса.
Вот, глаза Бога-мстителя
над тобой! Но их зловещий свет медлит
пока что не разразится над тобой. Марш вперед, марш вперед, к Фивам!
Не для тебя город и трон;
Земля сначала покраснеет от твоей крови.
Твоей и его, твоего врага, твоего брата! Проклятия!
Не в первый раз призван к моим злодеяниям...
Проклятия! Я призываю вас обратно и делаю вас
союзниками этого старика!

* * * * *

Да, проклятия овладеют твоим местом и троном,
Если античная справедливость над законами земли
Воцарится с богом грома. Марш к гибели!
Отвергнутый и отвергнутый, подлеший из подлых.
И с тобой носи это бремя: над твоей головой
Я пророчу гибель; ни трон, ни дом
Ждут острия меткого копья:
В твоей стране убежища нет;
Твои глаза в последний раз смотрели на полый Аргос.
Смерть от руки брата - темное братоубийство,
Убийство брата - будет твоим.
Да, пока я проклиная тебя, в мутной глубине
В первобытный ад я зову! Приготовьте
Этим людям их дом, ужасный Тартар! Богини,
чьи святилища вокруг меня - вы, мстящие фурии!
И ты, о владыка битвы, кто возбудил
ненависть в душах братьев, услышь меня - услышь меня!
А теперь, все прошло, хватит, уходи и скажи
Фиванскому народу и твоим любящим союзникам,
О том, что благословил он фурий,
Слепой старый Эдип награждает своих сыновей!" [352]

Как обычно у Софокла, за ужасающей силой этих казней сразу же следует нежная и патетическая сцена между Антигоной и ее братом. Дух Полиника, поначалу подавленный отцовским проклятием, настолько восстанавливает свое истинное мужество, что он не слушает мольбы сестры отказаться от похода на Фивы и повернуть свои войска обратно в Аргос. "Что, - говорит он,

"Вести назад армию, которая может подумать, что я дрожу!"

И все же он со скорбью осознает, что его смерть обречена, и нам приоткрывается завеса над сюжетом "Антигоны", когда он молит сестру, чтобы в случае его гибели его с почестями положили в гробницу. Изысканная прелесть характера Антигоны трогает даже Полиника, и он уходит, сказав,

"Боги вершат нашу судьбу;
Но ты, по крайней мере - о, никогда на тебя

Пусть не падет зло! Ты слишком хороша для печали!"

Хор возобновляет свои песнопения, как вдруг раздается гром, и Эдип приветствует знак, возвещающий его уход в тень. Невозможно придумать ничего более ужасного, чем это предзнаменование. Кажется, что Эдипу оставалось только проклясть своих детей и умереть. Он призывает Тесея, говорит ему, что его судьба близка, и что без проводника он сам укажет место, где ему предстоит упокоиться. Никогда не будет рассказано об этом месте - эта тайная и торжественная могила станет очарованием земли и защитой от врагов. Эдип оборачивается, и внутренний инстинкт подсказывает ему, как идти дальше. Его дочери и Тесей следуют за слепым, изумленные и потрясенные. "Сюда", - говорит он,

"Сюда, сюда, ибо этот путь ведет
Невидимый проводник мертвых [353] - и она.
Которую тени называют своей королевой! [354] О свет, сладкий свет,
Без лучей для меня - мой когда-то, и даже сейчас
Я чувствую, как ты осязаем, вокруг этой израненной формы,
В последних объятиях я иду, чтобы окутать
Угасающую жизнь в вечном Аиде!"

Таким образом, сцена остается за хором, а загадочная судьба Эдипа излагается Нунтием в стихах, которые Лонгин не слишком высоко оценил. Эдип привел его к пещере, хорошо известной в легендах как место, где Перифус и Тесей поклялись в своей вере, к медным ступеням, которые являются одним из входов в inferнальные царства;

"Между этим местом и Торическим камнем...
Полым терном и гробом погребальным
Он усадил его".

И когда он совершил возлияния из ручья, омылся и облачился в погребальные одежды, Иов прогремел под землей, и дочери старика, пораженные ужасом, упали перед ним на колени с рыданиями и стонами.

"Тогда над ними, пока они плакали, он сжал руки,
"О дети мои, - сказал он, - с этого дня
Нет у вас больше отца - весь я
иссякнет - бремя и труд
Моей старости на вас больше не ляжет.
Горестные муки вы пронесли по дому моему, и все же
Пусть хоть одна мысль будет бальзамом на душу, когда меня не станет.
Мысль о том, что никто в опустевшем мире
Любил вас так, как я; и в смерти я оставляю
Более счастливую жизнь для тебя!"

Так трогательно,
Сжимаясь в объятиях и страстно рыдая, трое
Плакали вслух, пока печаль не переросла
В смертельную тишину - ни крика, ни вопля
Заглушали мрачную тишину одиночества.

И вдруг раздался голос без тела.
И всех охватил холодный страх. Они задрожали от страха,
И ужас, как ветер, вздыбил их волосы.
И снова голос - снова: "Хо! Эдип, почему мы так долго медлим?
Приди, приди, приди".

Затем Эдип торжественно передает своих детей Тесею, отстраняет их, и Тесей остается один со стариком.

"Так со стоном мы ушли, а когда снова
Мы взглянули, вот, место
не знало человека! Там был только король,
держа руки над опущенными бровями.
Как будто для того, чтобы отгородиться от дрожащего взгляда.
Ужасный облик какой-то жуткой твари.
На которую природа не смеет смотреть. И мы остановились.
Пока король не очнулся от ужаса,
И к матери-земле, и к высокому Олимпу,
К матери-земле и к высокому Олимпу, где обитают боги, он вознес благоговейную молитву.
Но, как погиб старик, спасший короля,
Смертный не в силах разгадать; ни болт, ни левин,
Ни буря, принесенная с океана,
Не было ни слышно, ни видно; но он был вознесен
Ввысь на крыльях божественных, либо в тенях,
Чья тьма никогда не смотрела на солнце,
В мрачном милосердии зевнули, и пропасть
Поглотила странника из мира живых".

Такова, возвышенная в своей чудесной силе, ужасающей тайне, тусклом, религиозном ужасе, катастрофа "Эдипа в Колонее". Последующие строки посвящены причитаниям дочерей и кажутся совершенно излишними, если только не считать, что Софокл хотел указать на связь "Эдипа" с "Антигоной", сообщив нам, что дочери Эдипа должны быть отправлены в Фивы по просьбе самой Антигоны, которая в нежном мужестве своей натуры надеется, что она сможет предотвратить предсказанную резню своих братьев.

VII. Переходя к трагедии "Антигона", мы видим, что пророчество Эдипа исполнилось - братья пали от руки друг друга - аргивское войско разбито - Креон получил тиранию и под страхом смерти запретил хоронить Полиника, труп которого остается под охраной и без почестей. Антигона, помня о просьбе брата, обращенной к ней во время их последней беседы, решает отважиться на эдикт и совершить обряд, столь необходимый для грека. О своем решении она сообщает сестре Исмене, чей характер, еще слабый и заурядный, служит вечной опорой героизму Антигоны. Она исполняет свое решение, сбивает с толку бдительных стражников, хоронит труп. Креон, узнав, что его указ тайно нарушен, приказывает выкопать останки, и во время второй попытки Антигону обнаруживают, приводят к нему и приговаривают к смерти. Хазмон, сын Креона, был в любовной связи с Антигоной. Узнав о ее приговоре, он ищет Креона и после бурной сцены между ними, в которой нет ни силы, ни достоинства, свойственных Софоклу, уходит с туманными угрозами. За ним следует короткое, но самое изысканное воззвание хора к любви, и в нем, как можно заметить, хор выражает многое, не представленное в действии - он служит для того, чтобы внушить зрителю все неотразимые

эффекты страсти, которые современный художник стремился бы изобразить в какой-нибудь трогательной сцене между Антигоной и Гаемоном. Теперь героиня сама проходит через сцену, направляясь к своей страшной участи, которая заключается в живом погребении в "пещере скалы". Она обращается к хору.

"Вы, из земли, где жили мои отцы,
Смотрите, как я иду в последний путь!
Для этих глаз не существует времени. Черный Оркус,
Чей двор вмещает всех, ведет мои одинокие шаги,
пока я жив, к теням. Не для меня
Брачное благословение или брачный гимн:
Ахерон, прими свою невесту!
(Хор.) Чествуют и оплакивают
Не поражен ни медленной болезнью, ни жестокой рукой,
Твои шаги скользят к могиле! Самоосужденный, как Свобода, [355]
Ты, выше смертных одаренный, спустишься
Всех живых в тень.
Антигона. Кажется, я слышала...
Так гласят легенды, как фригийская Ниоба
(Бедная незнакомка) на высотах Сипила
Скорбно умерла. Твердая скала, как усики
Плюща, вцепились в ее сердце.
Она, больше никогда не растворяясь в ливнях,
Бледные снега пустыни; и из ее скорбных глаз
Как из неизменных фонтанов вниз по скалам,
Падают вечные росы. Подобно ей, бог
Убаюкивает меня сном и камнем!"

Затем она добавляет в своем прекрасном причитании: "У нее есть одно утешение - она сойдет в могилу дорогой своих родителей и брата".

Горе Антигоны полностью соответствует ее характеру: в нем нет ни раскаяния, ни слабости - это естественная печаль юности и женственности, спускающихся в могилу, на которую в старой греческой религии было так мало надежды. В "Антигоне" на нашей сцене мы могли бы потребовать больше упоминаний о ее возлюбленном; но греческая героиня не называет его имени и говорит скорее о потере женского жребия в браке, чем о потере отдельного жениха. Но не по этой причине мы должны заключить вместе с М. Шлегелем и другими, что греческие женщины не знали чувства любви. Такое представление, получившее безотчетное распространение, как я покажу далее, противоречит всей поэзии греков, самой их драме, их образу жизни и самим элементам той человеческой природы, которая везде одинакова. Но Софокл в образе Антигоны олицетворяет долг, а не страсть. Именно ей, ее ведущей индивидуальности, приносится в жертву все, что может ослабить чистый и статуарный эффект творения. Как она была для своего отца, так она и для своего брата. Горести и беды ее семьи настолько привязали их к ее сердцу, что у нее не осталось места ни для чего другого. "Созданная, как она сама о себе говорит, "любить, а не ненавидеть", [356] она живет лишь для того, чтобы посвятить самые святыне привязанности печальным и благочестивым делам, и, выполнив последнее, она покончила с землей.

Когда Антигону уносят, перед нами предстает августейшая персона, само имя которой для нас, обычно читающих "Эдипа Тирана" перед "Антигоной", является предвестником и гибели.

Как в "Эдипе Тиране" прорицатель Тиресий появляется, чтобы возвестить все последующие ужасы, так и теперь, в венце опустошения этого рокового дома, он, торжественный и таинственный, переживший все эти мрачные трагедии, снова выходит на сцену. Предзнаменования были дурными - птицы сражаются друг с другом в воздухе, пламя не разгорается от жертвы, а алтари и очаги полны птиц и собак, собравшихся на пиршество у трупа Полиника. Прорицательница советует Креону не воевать против мертвых и совершить обряд погребения тела царевича. В ответ на упрямый отказ Креона Тиресий произносит пророческие проклятия и уходит. Креон, чей буйный нрав сочетается со слабым характером и сильно контрастирует с могучим духом Эдипа, раскаивается, и хор уговаривает его освободить Антигону из ее живой тюрьмы, а также отменить указ, лишаящий Полиника погребения. С этой целью он покидает сцену, а хор раздражается одной из самых живописных своих од, обращением к Вакху, которое так неадекватно представлено английскому читателю.

"О ты, кого земля приветствует многими именами,
Сын бога-громовержца, и дикий восторг
Дикой фиванской девы!
На далеких ли берегах Италии повинешься ты,
Или в Элевсисе, где совершаются твои торжественные обряды.
С великой матерью [357], в таинственных долинах...

Вакх в вакхических Фивах наиболее известен,
Твои Фивы, которые считают Фиадов своими дочерьми;
Быстро проплывают поля с воинами, засеянные драконами,
И там, где Исмен катит свои быстрые воды.

Он видел тебя, дым,
На рогатой высоте -[358]
Он увидел тебя и рванулся
С прыжком в свет;

Где бродят корифейские нимфы по славной горе,
И мелодично струится старый касталийский фонтан.

И эхо дико радуется,
Нисийские кручи плющом увиты,
И берега с виноградниками зелеными цветущими,
Провозглашая, от кручи до берега,
Что Вакх всегда
Хранитель рода,
Где он обитель свою держит
С нею [359], под дыханьем
Громовой раскаленной смерти,
В сиянье славы ее всепоглощающей.

О теперь, с исцеляющими шагами по склону
Любимого Парнаса, или скользящим шагом,
Над далеко звучащим глубоким Эвбейским океаном...
Приди! Ибо мы погибаем - приди! Наш Господь и надежда!
Вождь величественного хора
Великих звезд, чье дыхание светло,
Кто гимнами вдохновляет
Голоса, о юнейший бог, что звучат в ночи;

Приди с толпой твоих Маенад,
Приди с девами твоего Наксийского острова,
Которые воспевают своего повелителя Вакха.
Безумствуя в мистическом танце, В торжественной полночи длинной!"

В конце хора входит Нунций, чтобы объявить о катастрофе, а Эвридика, жена Креона, встревоженная слухами в своем дворце, становится слушателем повествования. Креон со своим отрядом, похоронив Полиника, отправляется к пещере, в которой была замурована Антигона. Они слышат громкие причитания в "той неосвященной камере" - это голос Хаэмона. Креон отшатывается, слуги входят, и в пещере они видят Антигону, которая в ужасе смертельного одиночества задушила себя поясом своего одеяния; рядом лежал ее возлюбленный, обхватив руками ее талию. Креон выходит вперед, видит своего сына и призывает его выйти.

"Тогда, взглянув на отца дикими глазами,
Сын онемел и плюнул ему в лицо,
И, схватив неестественный меч, отец убежал,
И, разгневанный, как рука, упустившая родителя,
Жалкий человек прижал к своей груди
Отвратительную сталь; и все же, пока смутное чувство
Боролось в быстро иссякающей душе.
И все слабее, и слабее, и слабее его застывшие руки
цеплялись за эту девственную форму, и каждый вздох
Его последний вздох кровавыми росами омывал
Холодную белую щеку, которая была его подушкой. Так
Lies death embracing death!" [360]

В разгар этого описания Эвридика, мать Гемона, внезапно и бесшумно покидает сцену [361]. Когда мы слышим о ней в следующий раз, она уже покончила с собой, до последнего вздоха проклиная своего мужа как убийцу своего ребенка. В конце пьесы Креон остается в живых. Сам он не погибает, ибо никогда не вызывал у нас симпатий [362]. Он наказан через своего сына и жену - они мертвы, наш интерес к нему прекращается, и добавить его смерть к их и к смерти Антигоны было бы батосом.

VIII. В трагедии "Электра" характер героини выделяется самым смелым контрастом с созданием Антигоны; Обе они наделены непревзойденным величием и силой природы, они возвышеннее дочерей мужчин, сама их красота относится к эпохе, когда боги не были далекими предками царей, когда, как в ранних скульптурах Палласа или даже Афродиты, что-то суровое и строгое считалось необходимым для воплощения божественного, а прекрасное еще не утратило колоссальных пропорций возвышенного. Но сила и героизм Антигоны проистекают из любви - любви, трезвой, безмятежной, величественной, но все же любви. Электру же, напротив, поддерживает и возвышает над своим полом сила ее ненависти. Ее отец, "царь людей", злобно убит в своем дворце, она сама вынуждена общаться с его убийцами, принимать от их рук и милостыню, и оскорбления, прелюбодейный убийца на троне ее отца и повелитель брачного ложа ее отца [363], ее брат - скиталец и изгой. Таковы мысли, неотступно стоящие перед ней, - ее сердце и душа годами питались горечью обиды, одновременно бессильной и сильной, и сама природа превратилась в желчь. Она видит в Клитемнестре не мать, а убийцу отца. Сомнения и сострадание современного Гамлета неведомы ее более мужественному духу. Она продолжает жить, но с надеждой на

возвращение брата и на месть. Пьеса открывается появлением Ореста, Пилада и старого слуги, прибывших на рассвете в жилище Пелопидов, "обагренное кровью" - местопребывание Агамемнона. Орест, которого сестра в детстве спасла от замыслов Клитемнестры и Эгисфа, теперь вернулся в зрелом возрасте. Чтобы усыпить подозрения царственных прелюбодеев, Клитемнестра выдает ложный рассказ о смерти Ореста от несчастного случая на Пифийских играх, а самих Ореста и Пилада представляет в образе фокийцев, несущих прах мнимого покойника. Тем временем два друга отправляются к гробнице Агамемнона, чтобы совершить возлияния и т. д. Затем появляется Электра, предается возмущенным сетованиям на свою участь и утешает себя надеждой на скорое возвращение брата.

К ней присоединяется ее сестра Хрисотемида, несущая погребальные приношения на могилу Агамемнона; в этой беседе Софокл, с необычайным мастерством и глубоким знанием человеческой природы, стремится вызвать наше восхищение и симпатию к пылкой Электре, противопоставляя ее слабой и эгоистичной Хрисотемиде. Ее горечь против матери облекается в форму священного долга перед отцом. Ее неженские качества перерастают в мужество и великодушие - она превозносит недоброту и гонения, с которыми сталкивается со стороны Клитемнестры и Эгиста, - они служат доказательством ее почтения к мертвым. Как бы ни была она женщиной, она все же дочь царя - она не может подчиниться узурпатору, "она не станет добавлять трусость к страданиям". Хрисотемида сообщает Электре, что по возвращении Эгиста решено заключить ее в склеп, "где она могла бы неслышно воспевать свои горести". Электра выслушивает обдуманый приговор, не смущаясь - она не умерит свой непрощенный пыл, "не будет черствой для тех, кого любит". Но сон потряс Клитемнестру - Агамемнон явился ей, как наяву. В видении ей показалось, что он прикрепил свой скипетр к земле, из которого выросло дерево, заслонившее собой всю землю. Смущенная и мучимая совестью, она посылает Хрисотемиду с возлияниями, чтобы умиротворить маны умерших. Электра просит Хрисотемиду не совершать таких жертвоприношений, чтобы не разбрасывать их по ветру или в пыль, чтобы они не приближались к месту упокоения убитого царя. Хрисотемида обещает исполнить предписание и уходит. После этого происходит бурная и сильная сцена между Клитемнестрой и Электрой, когда входит слуга (как и было условлено), чтобы сообщить о смерти Ореста. В этом рассказе он изображает церемонию пифийских состязаний в строках, которые справедливо отмечаются и которые, как живое и верное изображение столь знаменитой выставки, читатель может с удовольствием увидеть даже в слабом и холодном переводе. В первый день Орест одержал пять побед, во второй он стартует с девятью соперниками на колесницах - ахейцем, спартанцем, двумя ливийцами, самим Фессалием с фессалийскими конями, шестым из Этолии, магнезийцем, энийцем, афинянином и беотийцем.

"Они заняли свои места там, где назначенные судьи
Бросив жребий, и выстроили состязающиеся машины;
Прозвенел медный трубач! И понеслись они вдаль,
Взбодрите разгоряченных коней и встряхните ослабленные поводья.
Как телом заполняется большое пространство
Огромным грохотом грохочущих машин:
Высоко вздымаются облака пыли; слившись воедино.
Каждый давит на каждого, и звенят плети, и громко
Фыркают дикие кони, и от их огненного дыхания
Вдоль их грив и вниз по кругу колес,
Рассыпается пена. Орест не шевелится,
А, огибая опасный столб.

Последним по курсу, колесом по оси мчась,
Левый повод обуздал, а правый
Распустился. Так и покатались колесницы!
Внезапно яростные и стремительные кони энийцев
Сорвались с места - и, как в седьмой раз уже
По курсу кружили, на ливийскую машину
Мчался их дикий фронт: тогда порядок сменился разрушением:
Машина разбилась о машину - широкая Криссейская равнина
Была, как тюлень, усеяна обломками: афинянин увидел,
Сбавил скорость и, колесом обогнув пристань,
Непострадавший и умелый, в срединном пространстве,
Оставив дикий шум этой бури.
Позади Орест, до сих пор последний,
Сдерживал своих коней до конца;
Теперь остался один-единственный соперник - и он полетел дальше,
И резкий звук удара бича
В чутких ушах летящих коней.
Он приближается, он достигает - они бок о бок.
То один, то другой - победитель.
Все курсы пройдены, колеса выпрямлены.
Все в безопасности, когда спешащие скакуны огибают
Роковой столб, несчастный мальчик
Ослабил левый повод; на краю колонны
Хрупкая ось вылетела из машины,
Пойманный и весь запутавшийся в поводьях, он упал;
И, лишенные хозяина, бешеные кони помчались вперед!

Громко от могучей толпы раздался
крик - крик! Но вчера такие подвиги
А сегодня - такая гибель! Теперь он кружился над землей,
Теперь его конечности взметнулись ввысь, и они потащили его - эти
Дикие лошади, пока все они не помертвели от колес.
И ни один человек, ни один из его ближайших друзей,
Не смог бы в этом растерзанном трупe отыскать Ореста.
Они положили тело на погребальный костер,
И пока мы говорим, фокийские чужеземцы несут его,
В маленькой, медной, меланхоличной урне,
ту горсть холодного пепла, к которой приковано все
Величие прекрасного уменьшилось.
Они несут его в страну отца.
Чтобы найти это наследие - могилу!"

К большому сожалению, этот отрывок, столь прекрасный в оригинале, подвержен одному существенному сомнению - он не представляет интереса в связи с пьесой, поскольку зрители знают, что Орест не умер; и хотя описание гонки сохраняет свое оживление, сообщение о катастрофе теряет ужас реальности и представляется лишь многокрасочной и изощренной фальшью.

Читатель представит себе причитания Электры и страшную радость Клитемнестры при рассказе, в котором одна теряет брата и друга, а другая - сына и врага-мстителя.

Хрисотемида радостно возвращается и сообщает, что у могилы Агамемнона она обнаружила прядь волос; вершину кургана еще увлажняют возлияния, а над могилой рассыпаны цветы всех оттенков. "Это, - думает она, - знаки того, что Орест вернулся". Электра, сообщив ей роковую новость, предлагает, чтобы они, женщины, попытались совершить страшную месть, которую брат уже не сможет исполнить. Когда Хрисотемида отшатывается и отказывается, Электра продолжает вынашивать падший замысел. Поэт уже не раз, и теперь снова с рассудительностью, давал нам понять зрелые годы Электры [364]; она не страстная, колеблющаяся и неопытная девушка, а старшая из рожденных в доме, хранительница детства наследника мужского пола; незамужняя и нелюбимая, ни мягкие заботы матроны, ни нежные девичьи ласки не расшатали нервы ее суровой, огненной и сосредоточенной души. Год за годом проходил, обостряя ее ненависть, вызывая отвращение к настоящему, приковывая ее к кровавым воспоминаниям о прошлом, закисляя и замораживая нежные мысли о женственности, развращая.

"И наполнить ее от макушки до пят
ужаснейшей жестокостью, сделать густой ее кровь.
Запретить доступ и проход к раскаянию" [365].

, и приспособить ее для одного венценосного деяния, ради которого только и живет дочь царя людей.

Наконец входят мнимые фокийцы с прахом Ореста; начальник поезда обращается к Электре, и это самая драматичная и трогательная сцена во всей трагедии. Когда урна, содержащая, как она полагает, прах ее брата, передается в руки Электры, мы вполне можем преодолеть время и пространство и увидеть перед собой великого актера, который принес на сцену мощи своего собственного сына и не пролил ни одной поддельной печали [366]- мы можем хорошо представить себе эмоции, охватившие огромную аудиторию, - жалость, смешанную с сознанием, к которому допущены только зрители, что оплакивание скоро сменится радостью и что живой Орест находится перед своей сестрой. С тончайшим искусством Софокл разрешает эту борьбу между настоящей болью и предвкушаемым удовольствием и заставляет зрителей затаив дыхание ждать того момента, когда Орест будет обнаружен. Теперь мы понимаем, почему поэт сразу же, в начале пьесы, объявил нам о существовании и возвращении Ореста - почему он пренебрег вульгарным источником интереса, грубым ожиданием, которое мы должны были бы испытывать, если бы разделяли невежество Электры и не были бы допущены к тайне, которую мы с нетерпением ждали, чтобы ей сообщили. В этой сцене наше превосходство над Электрой в знании, которым мы обладаем, утончает и смягчает наше сострадание, смешивая его с надеждой. И самым прекрасным образом здесь Софокл удаляет от нас мысль об ожесточенной ненависти, которая до сих пор одушевляла скорбящего, - сильный, гордый дух растаял, остались только женщина и сестра. Тот, кого она любила дороже матери, кого выхаживала, спасала и молилась за него, - "ничто" в ее руках; и последние обряды совершать не ей. Он был

"Чужие читали, чужие оплакивали".

Все исчезло вместе с ним - "исчезло в один день", "исчезло, как ураган", - и она осталась один на один с врагами. "Прими меня" (плачет она), "в убежище твое - освободи для меня место в доме твоём".

В этих причитаниях холодная классическая драма словно согревается реальной жизнью. Искусство, изысканное и невидимое, соединяет нас с нетленной природой - мы больше не восхищаемся Поэзией, мы плачем от Истины.

В конце концов Орест раскрывается, и теперь сюжет приближается к своей катастрофе. Клитемнестра одна в своем доме, готовит котел для погребения; Электра и хор на сцене; сын - мститель - внутри; внезапно раздаются крики Клитемнестры. Снова - снова! Орест снова становится отцеубийцей! [367] Он удаляется при виде приближающегося Эгисфа, и прелюбодейный узурпатор предстает перед нами в первый и последний раз - венчающая жертва жертвоприношения. Он идет, покрасневший от радости и триумфа. Он узнал, что страшного Ореста больше нет. Электра несколько минут развлекает его мрачными и ликующе двусмысленными словами. Он приказывает распахнуть двери, чтобы весь Аргос и Микены увидели останки его единственного соперника за трон. Сцена открывается. На пороге (где у греков обычно выставляли на обозрение труп умершего) лежит тело, покрытое пеленой или покрывалом. Рядом стоит Орест (предполагаемый фокиец).

"Эгисф. Великий бог! Благодарное зрелище! Если так
можно сказать, что она не согрешила; но если она,
Ужасная Немезида, будет рядом и услышит,
Я вспомню приговор! Поднимите занавес.
Мертвый был мне родней, и я познаю
Горе родственное.

Орест. Поднимите сами;
Не мне, а тебе дано осмотреть
Что лежит немой под ним, и приветствовать,
С любовью печальной, умершего.

Эгисф. Да будет так...
Хорошо сказано. Иди и позови царицу:
Она здесь?
Орест. Не ищи ее.
Она рядом с тобой!"

Эгисф поднимает покрывало и видит тело Клитемнестры! Он сразу же понимает свою судьбу. Он знает, что перед ним Орест. Он пытается заговорить. Свиристая Электра обрывает его, и Орест с суровой торжественностью ведет его со сцены на место, где Эгист зарубил Агамемнона, чтобы убийца умер от руки сына на том месте, где пал отец. Таким образом, в художественном отношении катастрофа не ослабляется, а усиливается, если убрать со сцены акт смерти; поэтическая справедливость, спокойно и обдуманно выбрав место убийства, возвышает то, что на современной сцене было бы лишь зрелищем физического ужаса, в более глубокий ужас и возвышенный мрак морального благоговения; и мстительное убийство, теряя свой аспект, идеализируется и освящается в религиозное жертвоприношение.

IX. Из семи оставшихся нам пьес "Трахиниада" обычно считается наименее проникнутой гением Софокла; Шлегель даже рискнул выдвинуть предположение, необычайно лишенное даже правдоподобных свидетельств, что автором может быть не сам Софокл. Сюжет вскоре раскрывается. Пьесу открывает Деянира, жена Геракла, которая предается меланхолическим размышлениям о несчастьях своей молодости и постоянном отсутствии мужа, о котором не было никаких вестей уже несколько месяцев. Вскоре она узнает от своего сына, Хилла, что Геракл, как говорят, возглавляет экспедицию в Эвбею; наш интерес сразу же возбуждается

ответом Деяниры, которая сообщает нам, что оракулы предсказали, что это должен быть кризис [368] в жизни Геракла - что теперь он должен отдохнуть от своих трудов либо в мирном доме, либо в могиле; и она посылает Хилла присоединиться к своему отцу, разделить его предприятие и судьбу. Хор трогательно рисует тревожную любовь Деяниры в следующих строках:

"Ты, кого звездная ночь убаюкала
В сон, из которого вывела ее дорога.
Ее прощальные шаги пробуждают тебя, прекрасная.
Фонтан пламени, о Солнце!
Скажи, на каком морском или внутреннем берегу
(Ибо земля обнажена перед твоим торжественным взглядом),
В восточной Азии или там, где мягкие лучи
Трепещут на западных водах, странствует тот.
Которого родила светлая Алькмена?
Ах! Как птица в одиноком гнезде
Покинутая жена слезами прогоняет сон;
И вечные беды
И преследует отсутствие с тусклым сонмом страхов,
Fond fancy shapes from air dark prophets of the breast."

В своем ответе на хор девственниц Деянира создает прекрасную картину девичьей юности, контрастирующую с заботами и тревогами супружеской жизни:

"Молодость пасется в своей собственной долине;
Палящее солнце, дожди и ветры небесные,
Не одолевают спокойную девственницу все заботы;
Но вечно сладкими радостями она возводит
Воздушные залы жизни".

Впоследствии Деянира получает новые известия о Геракле. Она отдается своей радости. Входит вестник Лихас и передает ей на попечение девиц, которых захватил герой. Деянира проникается состраданием к их судьбе и восхищается благородством одной из них, Иоле. Она уже собирается заняться подготовкой к их утешению, как вдруг узнает, что Иоле - ее соперница, любимая любовница Геракла. Ревность, которую проявляет Деянира, удивительно мягкая и женственная [369]. Даже бросая упрек Гераклу, она говорит, что не может испытывать к нему гнева, но как она может жить в одном доме с более молодой и справедливой соперницей;

"Она, в чьи годы цветок, что увядает в моих
Раскрывает листья красоты".

Ее привязанность, желание сохранить любовь героя заставляют ее вспомнить о подарке, который она когда-то получила от кентавра, упавшего с древка Геракла. Кентавр заверил ее, что кровь из его раны, если ее сохранить, будет действовать на сердце Геракла как фильтр и навсегда запомнит и закрепит за ней его привязанность. Она сохранила предполагаемый амулет, смочила им одежду, которую собиралась послать Гераклу в подарок; но Деянира в

этом роковом решении проявляет всю робость и миловидность своей натуры; она даже спрашивает, не преступление ли это - вернуть сердце мужа; она советуется с хором, который советует провести эксперимент (и здесь можно заметить, что это сделано искусно, так как передает оправдание Деяниры, хор как бы является представителем зрителей).

Соответственно, она посылает одежду Лихасу. Едва вестник ушел, как Деянира была напугана странным явлением: часть шерсти, которой якобы был обработан фильтр, была брошена на солнечный свет, отчего она увяла - "рассыпалась, как опилки", а на месте ее падения вспенилась какая-то ядовитая пена. В то время как хор рассказывает об этом явлении, возвращается ее сын, Хилус [370], и повествует о мучениях своего отца под отравленной одеждой: он надел одежду по случаю торжественного жертвоприношения, и все радовались, когда,

"Как из священного приношения и груди
пламя вспыхнуло".

Яд начал действовать, туника прилипла к конечностям героя, словно приклеенная искусником, и в агонии и безумии Геракл сбрасывает Лихаса, принесшего ему роковой дар, со скалы и уже возвращается домой. Услышав эти новости и упреки сына, Деянира бесшумно удаляется и кончает с собой на брачном ложе. Остальная часть пьесы очень слаба. Геракл представлен в своих муках, которые являются лишь бешенством физической боли, и после того, как он приказывает сыну жениться на Иоле (невинной причине его собственных страданий) и положить его еще живым на погребальный костер, пьеса заканчивается.

Красота "Трахинян" - в отдельных отрывках, в некоторых изысканных выпадах хора и в характере Деяниры, чья попытка вернуть любовь своего супруга, как бы несчастливо она ни закончилась, искупается кротостью натуры, деликатностью чувств, и тревожной, искренней, безответной преданностью супружеской любви, чего одного может быть достаточно, чтобы показать абсурдность современных заявлений об унижении женщин и отсутствии чистой и истинной любви в той стране, из которой Софокл черпал свой опыт.

Х. Аякс" намного лучше "Трахинян". Тема, которая не могла прийти в голову ни греческому поэту, ни греческой публике. Главной страстью грека было подражание - тема "Аякса" - это подражание, потерпевшее поражение. Он уступил Улиссу приз - оружие Ахилла, и стыд за поражение лишил его рассудка.

В ярости безумия он выбегает ночью из своего шатра, бьет стада, в которых видит греков, чья награда поразила и смирила его, и думает, что убил Атридов и взял в плен Улисса. Именно в этой пьесе Софокл в какой-то степени попытался применить наиболее эффективное из всех сочетаний в руках мастера - сочетание смешного и ужасного [371]: как говорит хор, "смеяться и плакать". Но когда открывающаяся сцена показывает Аякса, сидящего среди зарезанных жертв, когда этот надменный герой пробуждается от бреда, когда он осознает, что подверг себя насмешкам и издевательствам своих врагов, эффект оказывается почти слишком болезненным даже для трагедии. Противоположностью Аяксу является успокаивающая и нежная Текмесса. Женщины Софокла действительно одарены удивительной смесью величественности и сладости. После патетического прощания с маленьким сыном Аякс притворяется примирившимся со своей участью, скрывает принятое решение, и одним из тех искусных переходов эмоций, которые одновременно меняют и усиливают интерес на сцене, хор, прежде чем причитать, врывается с поздравлениями и радостью. Тяжелая беда миновала - Аякс восстановлен. Из лагеря прибывает Нунций.

Прорицатель Калхас уговаривает Тевсера, брата героя, не разрешать Аяксу покидать палатку в этот день, ибо в этот день его преследует только Минерва, и если он переживет это, то, возможно, будет сохранен и процветать. Но Аякс уже скрылся, и никто не знает, куда. Текмесса отправляется на его поиски, а за ней, в редчайшем отступлении от обычаев греческой сцены, следует хор.

Аякс появляется снова. Его страсти теперь спокойны и сосредоточены, но они ведут его к гибели. Он опозорен, обещен, он стал посмешищем для своих врагов. Благородно жить или благородно умереть - вот единственный выбор храброго человека. Для греческого темперамента характерно, что герои греческой поэзии всегда прощаются с солнцем с задержкой и неохотой. В этих детях прекрасного Запада есть великолепная полнота жизни; солнце для них - как знакомый друг; страдание или ужас Аида - в мысли, что его поля без солнца. Шар, одушевлявший их умеренные небеса, созревающий их плодородную землю, в котором они видели тип вечной молодости, непревзойденной красоты, воплощенной поэзии - человеческой в своих ассоциациях и все же божественной в своей природе - одинаково любим и одинаково оплакиваем девичьей нежностью Антигоны или угрюмым величием Аякса. В халдейской поэме герой прощался бы со звездами!

Именно так Аякс заканчивает свой знаменитый солилоквиум.

"И ты, что делаешь высокие небеса своей колесницей,
О солнце, вззирающее на мой отчий край,
Откинь золотой повод и расскажи о моих бедах
Старику, отцу моему, и ей.
которая кормила меня у своего лона, - моей бедной матери!
По стенам эхом пронесется плач.
Когда - но прочь такие мысли! - наступит час
Настанет час, когда наступит смерть. Смерть, смерть, посмотри на меня!
Разве я сказал "смерть"? Это была пустая трата слов;
Мы будем друзьями в будущем.
 Это ДЕНЬ,
Присутствующий и дышащий вокруг меня, и машина
Милого солнца, что никогда больше
Принять мой привет! Отныне время без солнца,
И день - то, чего нет! Прекрасный свет,
Мой Саламис, моя страна и пол
Очага моего дорогого, и ты, светлые Афины,
Ты - ведь мы с твоими сыновьями были мальчишками.
Фонтаны и реки, и троянские равнины,
Я любил вас, как своих воспитателей, - благословите меня!
Эти слова - последнее, что слышит земля от Аякса.
Все остальное несказанное, в стране призраков
Я прошепчу мертвым!"

Аякс погибает на своем мече, но интерес пьесы переживает его. Ведь у греков погребение, а не смерть, было великим завершением жизни. Перед нами предстает Тевсер - хранитель останков героя, и его характер, одновременно свирепый и нежный, - это эскиз необычайной силы. Агамемнон, напротив, - также представленный нам только после смерти Аякса - всего

лишь буйный тиран [372]. Наконец, благодаря великодушному заступничеству Улисса, который искупает его характер от неблагоприятного представления, сложившегося о нем в начале пьесы, совершаются погребальные обряды, а дидактическая и торжественная мораль хора завершает все действие.

XI. "Филоктет" всегда причислялся критиками к самым продуманным и отточенным трагедиям Софокла. В некоторых отношениях она заслуживает хвалебных отзывов. Но один большой недостаток концепции, как мне кажется, будет очевиден при простом изложении сюжета.

Филоктет, друг и оруженосец Геракла, наследник метких древков и лука этого героя, во время стоянки греческого флота на Хрисе (небольшой остров в Эгейском море) был укушен в ногу змеей; боль от раны была невыносимой - крики и стоны Филоктета нарушали возлияния и жертвоприношения греков. А Улисс и Диомед, когда флот отплыл, оставили его, спящего, на диких и скалистых просторах Лемноса. Там, до десятого года троянской осады, он влачил мучительную жизнь. Тогда прорицатель Геленус заявил, что Троя не падет, пока в греческом лагере не появится Филоктет со стрелами и луком Геракла. Улисс берется осуществить задуманное и вместе с Неоптолемом (сыном Ахилла) отправляется на Лемнос. Здесь и открывается пьеса. Дикий и пустынный берег, пещера с двумя устьями (чтобы зимой было двойное место для солнечного света, а летом - двойной вход для бриза) и маленький фонтанчик с чистой водой - вот место обитания Филоктета.

В соответствии со своим характером, Улисс добивается своей цели обманом и хитростью. Неоптолему предстоит одурачить того, кого он никогда не видел, признаниями в дружбе и предложениями услуг, и выманить у него освященное оружие. Неоптолему, чей характер представляет собой набросок, который мог бы воплотить в жизнь только Шекспир, присущи щедрая пылкость и честность юности, но в нем есть и робкая нерешительность, покорность великим, страх перед осуждением мира. Он отшатывается от предложенной ему низменной задачи; он предпочел бы насилие обману; но он боится, что, приняв на себя это предприятие, его отказ от действий будет расценен как предательство по отношению к своему коадьютору. С глубокой и меланхоличной мудростью Улисс, который, кажется, созерцает его борьбу с состраданием и недовольным превосходством, пытается примирить юношу:

"Сын благородного государя! Я тоже в юности
Имел твою простую речь и твою нетерпеливую руку:
Но время - суровое испытание! Я дожил до того, чтобы увидеть.
Что среди людей орудием власти и империи
Ловкие слова, а не дела".

Неоптолем одерживает верх. Улисс удаляется, появляется Филоктет. Восторг одинокого несчастного, услышавшего родной язык, увидевшего сына Ахилла, описание его чувств, когда он впервые оказался брошенным в пустыне, рассказ о перенесенных им с тех пор лишениях - все это очень трогательно. Он просит Неоптолема отнести его, и когда юноша соглашается, он разражается возгласом радости, который у зрителей, в тайне от того, какое вероломство будет совершено над ним, должен был вызвать самые живые эмоции. Характерное достоинство Софокла состоит в том, что в свои самые величественные творения он всегда умудряется внести самые милые штрихи человечности. Филоктет не покинет свою жалкую пустыню, пока не вернется в свою пещеру, чтобы попрощаться с ней и поцеловать единственное убежище, которое не отказало ему в пристанище от его бед. В радости своего сердца он думает, бедный дурак, что обрел веру в человека - в молодость. Он доверяет

стрелы и лук руке Неоптолема. Затем, когда он пытается ползти, острая агония раны полностью овладевает им. Он тщетно пытается заглушить свои стоны; тело побеждает разум. Это кажется мне, как я еще раз замечу, пятном пьесы; это просто демонстрация физической боли. Мучения изнуряют человека, пока на него не наваливается бесчувствие или сон. Он ложится отдохнуть, а юноша наблюдает за ним. Картина поразительная. Неоптолем, воюя с самим собой, не пользуется случаем. Филоктет просыпается. Он готов подняться на борт; он умоляет и призывает к немедленному отплытию. Неоптолем отшатывается - подозрения Филоктета пробудились; он думает, что и этот незнакомец покинет его. Наконец юноша, сделав над собой усилие, резко произносит: "Ты должен плыть в Трою к грекам - Атридам".

"Греки - Атриды!" Предатели Филоктета - те, кого нельзя помиловать, те, кого он десять лет преследовал проклятиями обиженного, покинутого и одинокого духа. "Верните мне, - кричит он, - мой лук и стрелы". И когда Неоптолем отказывается, он обрушивает на него поток упреков. Сын правдолюбца Ахилл не может больше терпеть. Он уже собирается вернуть оружие, как на сцену вбегает Улисс и мешает ему.

В конце концов страдальца снова оставляют одного в пустыне. Он не может идти со своими предателями, не может дать славу и победу своим бесчеловечным врагам; в гневе его возмущенного сердца даже пустыня слаще греческого лагеря. А как ему продержаться без своих валов! Голод добавляет новый ужас к его тоскливому одиночеству, и дикие звери теперь могут проникнуть в его пещеру: но их жестокость была бы милосердием! Так рассказывается о его противоречивых и бурных эмоциях, когда моряки, составляющие хор, собираются уходить.

Хор умоляет его сопровождать их.

Фил. Begone.

Хор. Это дружеская просьба - мы повинемся.

Идемте, идемте. На корабль, мои товарищи.

Фил. Нет-

Нет, не уходите, клянусь великим Богом, который слышит проклятья людей - не уходите.

Чор. Будь спокоен.

Фил. Милые незнакомцы!

В милосердии не оставляйте меня.

* * * * *

Чор. Но теперь вы просили нас!

Фил. Вот и повод для укоров,

Что бедный отчаянный несчастный, обезумевший от боли, должен говорить, как безумцы!

Чор. Тогда пойдемте с нами.

Фил. Никогда! О, никогда! Послушайте меня - никогда, если бы все Молнии бога-громовержца стали
Союзниками с тобой, чтоб взорвать меня! Погибнет Троя,
И все осажденные у ее стен - да, все.

У кого хватило сердца отвергнуть раненого несчастного;

Но, но, но, но, да, да, одна молитва, одно благодеяние мне.

Хор. Что ты хочешь?

Фил. Меч, топор, что-нибудь;

Чтоб мог ударить, неважно!

Чор. Не для чего?

Фил. Что! Чтобы эта рука отрубила мне эту голову...

Эти конечности! К смерти, к торжественной смерти, наконец.

Мой дух зовет меня.

Чор. Почему?

Фил. Искать моего отца.

Чор. На земле?

Фил. В Аиде.

Доведя нас до крайнего сочувствия к покинутому Филоктету, поэт постепенно проливает более мягкий и святой свет на тот напряженный мрак, к которому нас привели. Неоптолем, тронутый великодушным раскаянием, крадется назад, чтобы отдать предавшему его воину оружие, за ним следит бдительный Улисс, между ними происходит гневная перепалка. Улисс, обнаружив, что его не удастся запугать, благоразумно избегает личной встречи с сыном Ахилла и уходит, чтобы сообщить хозяевам об отступлении своего товарища. -Затем следует прекраснейшая сцена, в которой Неоптолем возвращает оружие Филоктету - сцена, которая должна была вызвать самые изысканные слезы и самые восторженные аплодисменты зрителей; и, наконец, бог, столь полезный для древних поэтов, приводит все вещи, вопреки общему правилу Аристотеля [373], к счастливому завершению. Появляется Геракл и побуждает своего бывшего друга сопровождать Неоптолема в греческий лагерь, где его рана будет исцелена. Прощание Филоктета со своей пещерой, с нимфами лугов, с ревом океана, брызги которого южный ветер доносит до его грубой обители, с ликийским потоком и равниной Лемноса, остается в ушах, как торжественный гимн, в котором мало скорбного лишь усиливает величественную сладость всего музыкального. По драматическому искусству в нескольких сценах этой пьесы Софокл никогда не превосходил и едва ли сравнится с ним. В контрасте характеров Улисса и Неоптолема есть реальность, человеческая сила и правда, что более свойственно современной, чем античной драме. Но все же недостаток этой истории отчасти в том, что сюжет покоится на низменном и бесчестном обмане, а главным образом в том, что наша жалость вызывается грубым сочувствием к физической боли: лохмотья, прикрывающие язвы, испорченные язвы, действуют не столько на разум, сколько на нервы; и когда герой изображается сжавшимся от телесной агонии - кровь сочится из его ноги, сизый пот катится по лбу - нас тошнит и мы отворачиваемся от зрелища; мы больше не испытываем того удовольствия от собственной боли, которое должно быть характерно для настоящей трагедии. Напрасно оправдывать эту ошибку какими-либо различиями между древним и современным драматическим искусством. Как в природе, так и в искусстве всегда есть какие-то универсальные и постоянные законы. Лонгин справедливо считает пафос частью возвышенного, ибо жалость должна возвышать нас; но в шумных ранах даже мифического героя нет ничего возвышающего нас; наша человеческая природа слишком сильно загнана в себя, и доказательством того, что в этом древнее искусство не отличалось от современного, служит та редкость, с которой телесная боль становится инструментом сострадания у греческих трагиков. Филоктет и Геракл - исключения, подтверждающие правило. [374]

XII. Еще один недостаток нашего восхищения Филоктетом заключается в сравнении, которое он невольно вызывает с эсхиловским Прометеем. Обе пьесы - примеры стойкости в страданиях, борьбы разума с судьбой. В обеих пьесах место действия - унылая пустошь, дикое одиночество. Но возвышенность Прометея превращает в ничтожество любой образ героя или полубога, с которым мы его сравниваем. Что такое хор мореплавателей, и

проницательный Улисс, и мальчишеское великодушие Неоптолема, что такое одинокая пещера на берегу Лемноса, что такое высокодуховный старый воин с его мучительной раной и священным луком - что все это для огромного Титана, которого изверги приковывают к скале, под которой текут адские реки, для которого дочери Океана - служительницы, для которого первородные боги Олимпа - выскочки одного дня, чья душа - сокровищница тайны, угрожающей царству небес, и ради чьей невообразимой гибели земля качается до основания, вся мощь божества пущена в ход, и сам Аид трепещет, принимая своего неукротимого и ужасного гостя! И все же, как я уже говорил, именно грандиозность Эсхила, должно быть, сделала его поэмы менее привлекательными на сцене, чем поэмы гуманного и гибкого Софокла. Никакое зримое представление не может передать его мысли - они овладевают воображением, но не доходят до наших бытовых и привычных чувств. В контрасте между "Филоклетом" и "Прометеем" сгущается контраст между Эсхилом и Софоклом. Оба они - поэты высочайшего порядка; но один из них кажется почти недостижимым для наших чувств - его бурный мрак поражает воображение, яркие блики его мыслей пронзают самые потаенные уголки интеллекта, но лишь случайно он задевает сердце. Другой в своих грандиозных полетах помнит, что его зрителями являются люди, и, кажется, чувствует, что искусство потеряло дыхание своей жизни, когда устремилось за пределы атмосферы человеческого интеллекта и человеческих страстей. Разница между творениями Эсхила и Софокла подобна разнице между Сатаной Мильтона и Макбетом Шекспира. Эсхил одинаково искусен с Софоклом - это критика невежества утверждает обратное. Но существует такое широкое различие - Эсхил искусен как драматург, которого нужно читать, а Софокл - как драматург, которого нужно играть. Если мы избавимся от актеров, сцены и зрителей, Эсхил будет волновать и трогать нас не меньше, чем Софокл, но в более интеллектуальной, хотя и менее страстной форме. Поэма может быть драматической, но не театральной, может иметь все эффекты драмы при прочтении, но, недостаточно задействовав мастерство актера - а может, и выйдя за пределы гистрионных возможностей, - может потерять эти эффекты при представлении. Шторм в "Лире" - в высшей степени драматическое действо, когда наше воображение может свободно представлять себе разъяренные стихии,

"Прикажи ветрам свергнуть землю в море,
Или вздыбить свернувшиеся воды".

Но буря на сцене, вместо того чтобы превзойти, так плохо подражает реальности, что никогда не сможет реализовать эффект, который задумал поэт и которым впечатлен читатель. Так и со сверхъестественными и причудливыми творениями, особенно с более тонкими и утонченными. Ариэль из "Бури", феи из "Сна в летнюю ночь" и океаниды из "Прометея" не должны быть представлены человеческими фигурами. Мы не можем сказать, что они не драматичны, но они не театральны. Мы можем сочувствовать поэту, но не актеру. По той же причине, но в меньшей степени, все творения, даже человеческие, которые очень сильно воздействуют на воображение, поднимают читателя полностью из реального опыта и над обыденной землей, сравнительно слабы, когда сводятся к видимым формам. Самые метафизические пьесы Шекспира наименее популярны в представлении. Таким образом, сам гений Эсхила, который зажигает нас в шкафу, должен был часто противостоять ему на сцене. Но у Софокла все - даже сами божества - тронуты человечностью; они не слишком тонкие и не слишком возвышенные, чтобы предстать перед смертным взором. Мы сразу чувствуем, что на сцене Софокл должен был выиграть приз у Эсхила; и в доказательство этого, если мы посмотрим на пьесы каждого из них, мы увидим, что едва ли хоть один из великих персонажей Эсхила мог бы вызвать достаточное упражнение сил актера. Прометей

на своей скале, никогда не меняющий даже своего положения, никогда не отсутствующий на сцене, лишен всей той разрядки, игры и подвижности, которые необходимы актеру. Его земной представитель может быть лишь великим декламатором. В "Персах" недостает не только театрального, но и драматического эффекта - великолепная поэзия, вложенная в разные уста, но нет ни столкновения страстей, ни неожиданности, ни инцидента, ни сюжета, ни стремительного диалога, в котором слова были бы лишь типами эмоций. В "Суппликантах" Гаррик ничего не смог бы сделать из Пеласга. В "Семерых перед Фивами" в партии Этеокла есть не более двадцати-тридцати строк, в которых искусство актера могло бы значительно помочь гению поэта. В трилогии "Агамемнон", "Хефоры" и "Орест", написанной в преклонном возрасте, мы можем проследить заразительное новаторство Софокла; но даже в этих трагедиях нет ни одной столь эффектной роли, как те, что даны великими героями Софокла. В первой пьесе лицемерие и властность Клитемнестры, правда, отчасти требовали и вызвали талант игрока; но сам Агамемнон - всего лишь предмет спектакля, а пышные взрывы Кассандры мог бы эффектно произнести и очень слабый гистрионный артист. Во второй пьесе, в сцене между Орестом и его матерью и в набирающем силу безумии Ореста, искусство поэта, несомненно, в высшей степени соответствует мастерству исполнителя. Но в последней пьесе ("Фурии"), возможно, самой возвышенной поэме из трех, которая так грандиозно открывается отцеубийцей в святилище, а фурии спят вокруг него, нет ни одной сцены от начала до конца, в которой выдающийся актер мог бы проявить свой гений.

Но когда мы переходим к пьесам Софокла, мы чувствуем, что создается новая эра в драме; мы чувствуем, что поэт-художник вызвал к жизни актера-художника. Его театральные эффекты [375] осязаемы, реальны - они могут быть представлены завтра в Париже, в Лондоне, везде. Таким образом, мы видим, что вместе с Софоклом к потомкам перешло имя великого актера [376] в его главных пьесах. И я думаю, что английский читатель, даже в общем анализе и эпизодических переводах, которыми я рискнул заполнить столько страниц, поймет, что все усилия тонкой, деликатной и страстной силы, даже в современном актере, были бы абсолютно необходимы, чтобы сделать справедливость в отношении персонажей Эдипа в Колонее, Антигоны, Электры и Филоктета.

В этом и заключалось различие между Эсхилом и Софоклом - оба они были художниками, какими всегда должны быть гении, но искусство последнего лучше приспособлено к изображению. И это различие в искусстве было вызвано не только старшинством во времени. Если бы Эсхил следовал за Софоклом, оно бы также существовало - это было естественным следствием различий в их гениях: один более возвышенный, другой более впечатлительный - один возвышает воображение, другой обращается к сердцу. Эсхил - Майкл Анджело драмы, Софокл - Рафаэлю.

XIII. Таким образом, я представил широкому читателю набросок всех трагедий Софокла. В том большом объеме, с которым я вступил в эту, не менее трудную, часть моей общей задачи, я сильно отклонился от плана, которого придерживались писатели греческой истории. Этому новшеству я не нахожу оправдания. Именно ее поэзия в рассматриваемый нами период, как и ее философия в более позднее время, составляют индивидуальность Афин. В Софокле мы видим эпоху Перикла. Войны того блестящего времени были для нас развлечением по сравнению с могучей резней восточных или северных сражений. Покорение одного города, который в наше время, не имеющее ни Софокла, ни Перикла, капитан артиллерии разрушил бы за неделю, было самым гордым подвигом олимпийца с Агоры; немного времени, и одно поражение срывает диадему морей с чела "Фиалковой царицы"; "скудные руины, свидетельствующие о славе "Пропилеев, Парфенона, портиков и доков", к которым красноречивый оратор обращался как к "несокрушимому достоянию"

Афин; По пустынному месту некогда бурной Агоры крестьянин гонит своих волов - божество-чемпион [377] Фидия, чье призрачное явление устрало варвара Алариха [378], и блеск чьего копья радовал мореплавателя под высотами Суниума, исчезло с Акрополя; Но, к счастью, век Перикла запечатлен в искусстве, более нетленном, чем военное, в материалах более долговечных, чем бронза и мрамор, слоновая кость и золото. В величественной гармонии, симметричном изяществе Софокла мы видим истинный портрет гения времени, а старик из Колонеи до сих пор прославляет имя Афин в более сладкой песне, чем песнь соловья [379], и мелодии, пережившей муз Кефиса [380]. Софокл был аллегорическим пророком, когда заявил, что в могиле Эдипа будет найден священный страж и вечная защита города Тесея.

СНОСКИ.

[1] "Cum consuetudine ad imperii cupiditatem trahi videretur."-Nepos in Vit. Milt., cap. 8.

[2] Corn. Nepos in Vit. Milt., cap. 7.

[3] Nepos. in Vit. Milt., cap. 7.

[4] Herod., lib. vi., cap. cxxxvi.

[5] Непос говорит, что штраф был оценен в стоимость флота, который он провел в Парос; но Бозций справедливо замечает, что это невежественное утверждение этого автора, что штраф предназначался для компенсации, как обычно оценивается преступление.

Дело обстоит так: Мильтиада обвинили - справедливо или несправедливо, неважно, - но не принять обвинение и не рассмотреть дело было так же невозможно, как английскому суду отказать в приеме уголовного иска против лорда Грея или герцога Веллингтона. Был ли Мильтиадис виновен или нет? Этого мы сказать не можем. Мы знаем, что его судили по закону, и что афиняне сочли его виновным, так как осудили его. И это не неблагодарность - таков закон. Человека судят и признают виновным - если бы прошлые заслуги и слава спасали великих людей от наказания при осуждении за государственное преступление, общество, возможно, было бы дезорганизовано, и уж точно свободное государство перестало бы существовать. Поэтому вопрос сводится к следующему: было или не было неблагодарностью со стороны народа смягчение смертной казни, положенной по закону, и замена ее крупным штрафом? Боюсь, мы найдем мало примеров большего милосердия в монархиях, какими бы мягкими они ни были. Мильтиад, к несчастью, умер. Но его убила природа, а не афинский народ. И нельзя сказать с большей справедливостью об афинянах, чем о народе не менее прославленном, который теперь является их судьей, что у них был обычай "убивать адмирала, чтобы ободрить других".

[6] Вкус народа, который является для искусства тем же, чем общественное мнение для законодательства, формируется, как и общественное мнение, в результате привычного общения и столкновений. Чем больше людей собираются вместе для бесед и обсуждений, тем больше распространяются и совершенствуются принципы общего национального вкуса. Не столько климату, пейзажам, красоте форм, сколько общественным привычкам и предпочтению общественной жизни домашней, афиняне и вообще греческие республики обязаны той удивительной восприимчивости к прекрасному и гармоничному, которая отличает их от всех народов древности и современности. Одиночество может возвысить гений человека, но только общение способно облагородить вкус народа".

[7] Кажется вероятным, что главный вакхический праздник первоначально проводился во время сбора урожая винограда - *Conditio post frumenta*. Но с самого раннего известного периода в Аттике все тройные Дионисии отмечались зимой и весной.

[8] Египтяне, согласно Геродоту, утверждают, что Меламп впервые ввел фаллический символ среди греков, хотя он никогда не объяснял в достаточной степени его таинственные значения, которые различные мудрецы с его времен, однако, удовлетворительно истолковывали. Для греков справедливо добавить, что этот импорт, как и другие обряды Вакха, считался совершенно противоречащим их обычным привычкам и нравам".

[9] Геродот утверждает, что Арион впервые назвал, изобрел и преподавал дифирамб в Коринфе; но, как с триумфом замечает Бентли, Афиней сохранил для нас те самые стихи Архилоха, его предшественника на столетие, в которых названа песня дифирамба.

[10] В этих замечаниях о происхождении драмы было бы не столько историей, сколько схоластической диссертацией, чтобы вдаваться во все спорные и неоднозначные моменты. Поэтому я не останавливаюсь на каждом шагу, чтобы обсудить вопросы, оспариваемые антикварами, например, было ли слово "трагедия" в его примитивном и домашнем смысле, вместе с призом козла, известно или нет в Аттике до Фесписа (мне кажется, что наименее успешной частью бессмертного труда Бентли является та, в которой делается попытка подтвердить последнее утверждение); Тем не менее, я не считаю, что серьезный ответ должен быть дан тем, кто в прямом противоречии с авторитетами, возглавляемыми серьезным и внимательным Аристотелем, утверждает, что выставки Фесписа носили серьезный и возвышенный характер. Историк должен сам взвешивать доказательства, на которых он строит свои выводы, и приходить к этим выводам, особенно в спорах, которые приводят к неважным и отстраненным запросам, требующим самых больших затрат знаний, не утомляя читателя повторением всех аргументов, которые он принимает или отвергает. Для тех, кто склонен более глубоко вникать в темы, связанные с ранней афинской драмой, в изобилии найдутся работы английских и немецких авторов, слишком знаменитых, чтобы их перечислять. Но даже самый невнимательный читатель не преминет насладиться диссертацией Бентли о Фаларисе, которая так хорошо знакома студентам и которая, несмотря на несколько несдержанных и смелых предположений, всегда будет оставаться одним из самых колоссальных памятников аргументации и эрудиции.

[11] Эсхил был пифагорейцем. "*Veniat Aeschylus, sed etiam Pythagoreus.*" - *Cic. Tusc. Dis.*, b. ii., 9.

[12] Из пятидесяти пьес тридцать две были сатирическими - *Suidas in Prat.*

[13] Тетралогия - название, данное четырехкратной экспозиции трех трагедий, или трилогии, и сатирической драмы.

[14] Однако у Эсхила на сцене иногда бывает более двух говорящих актеров, как, например, в "Хеофорах": Клитемнестра, Орест, Электра (не говоря уже о молчащем Пиладе), и снова в той же пьесе: Орест, Пилад и Клитемнестра, а также в "Эвменидах": Аполлон, Минерва, Орест. Правда, следует заметить, что эти пьесы были написаны уже после того, как Софокл ввел третьего актера. [Тетралогия "Орестея" была выставлена в 455 году до н. э., всего за два года до смерти Эсхила и через десять лет после того, как Софокл получил свой первый приз]. Любое количество немых могло быть допущено не только в качестве охранников и т.д., но даже в качестве более важных персонажей. Так, в "Прометее" в самом начале пьесы перед нами предстают демоны Силы и Могуущества, бог Вулкан и сам Прометей, но диалог ограничивается Силой и Вулканом.

[15] Знаменитый храм Вакха; построен после того, как деревянный театр просел под толпой, собравшейся посмотреть на состязание между Пратином и Эсхилом.

[16] 1-я. Сельская Дионисия, проводившаяся в сельских районах Аттики в начале января. 2d. Ленейская, или Антистерийская, Дионисия, в конце февраля - начале марта, на которой происходили главным образом комические состязания; и великая городская Дионисия, о которой говорится в тексте. Впоследствии драматические представления показывали и в августе, во время Панафиней.

[17] То есть, когда на сцену допускались три актера.

[18] Ибо достаточно ясно, что женщины допускались к трагическим представлениям, хотя доводы против их присутствия в комических пьесах преобладают. Если это допустить, то нравы греков могут быть достаточными для доказательства того, что, как и на арене римских игр, они были отделены от мужчин; на это, правда, косвенно намекает отрывок из "Горгия" Платона.

[19] Шлегель правдиво и красноречиво говорит о хоре, "что это был идеализированный зритель", "доносящий до реального зрителя музыкальное и лирическое выражение его собственных эмоций".

[20] В этой речи он перечисляет, среди прочих преимуществ, и преимущества Числа, "принца мудрых изобретений" - один из отрывков, в которых Эсхил, как предполагается, выдает свои пифагорейские доктрины.

[21] Много споров вызывает вопрос, была ли Ио представлена на сцене преображенной в реальный облик телицы или просто проклятой провидческим френдзоной, в которой она верит в превращение. С большой неохотой я признаю, что мне кажется невозможным объяснить некоторые выражения, не предполагая, что Ио появилась на сцене хотя бы частично преображенной".

[22] Vit. Aesch.

[23] Это ортодоксальный обычай переводчиков - переводить диалоги греческих пьес чистым стихом; но в данном случае все оживление и стремительность оригинала были бы полностью потеряны в жесткой конструкции и затяжном ритме этого метра.

[24] То есть, луга вокруг Асопа.

[25] Чтобы сделать смысл этого отрывка более полным и завершить мысль, которую царица хотела донести, заключительная строка в тексте заимствована из следующей речи Клитемнестры, следующей сразу после краткого и восклицательного перерыва хора.

[26] т. е. Менелай, ставший от горя призраком прежнего себя.

[27] Слова, выделенные курсивом, представляют собой попытку парафрастически передать новую конструкцию предложения, которое озадачило комментаторов и встретило множество противоречивых толкований. Дословно оригинал звучит так: "Я больше всего жалею последнего". Поначалу трудно предположить, почему те, чьи невзгоды уже позади, "стертые увлажненной губкой", должны быть наиболее достойны сострадания. Но мне кажется, что Кассандра применяет эти чувства к себе - она жалеет тех, чья карьера скорби закончилась, потому что это ее собственная участь, которую она сочувствует, и посредством ссылки на которую она индивидуализирует общее размышление.

[28] Возможно, его простая дикция нашла бы менее слабое подобие в отрывках Шелли, особенно в "Прометее" этого поэта, чем в любой другой существующей поэзии. Но это только его дикция. Его сила - в концентрации, в то время как качество Шелли - в рассеянности. Интерес, возбужденный Эсхилом, даже для тех, кто больше не может сочувствовать древним ассоциациям, поразителен, ужасен и интенсивен, а интерес, возбужденный Шелли, вял и утомителен. Интеллектуализм Шелли разрушил, а Эсхил только усилил его власть над страстями.

[29] В комедии "Лягушки" Аристофан ставит в заслугу Эсхилу, что тот не нарисовал ни одной женщины, находящейся под влиянием любви. Спанхейм удивлен тем, что Аристофан приписывает подобное хвастовство автору "Агамемнона". Но любовь Клитемнестры к Эгисту никогда не нарисована, никогда не обрисована. Она лишь предполагается и намекается - чувство, лежащее в темноте и скрытое за якобы выдвигаемыми мотивами убийства Агамемнона: мстостью за жертвоприношение Ифигении и ревностью к Кассандре.

[30] В потерянных для нас пьесах.

[31] Я отвергаю традиции, которые делают Аристиду и Фемистокла соперниками в детстве, потому что сама хронология опровергает их. Аристид должен был быть в зрелом возрасте во время битвы при Марафоне, если он был другом и последователем Клистена, одного из десяти полководцев, участвовавших в сражении, и архонтом в следующем году. Но и Плутарх, и Юстин уверяют нас, что Фемистокл был очень молод во время битвы при Марафоне, и эта уверенность подтверждается другими фактами, связанными с его биографией. Он умер в возрасте шестидесяти пяти лет, но дожил до осады Кипра Кимоном. Это произошло в 449 году до нашей эры. Если, таким образом, отнести его смерть к этому году, то он родился в 514 году до н. э., и, следовательно, ему было около двадцати четырех лет во время битвы при Марафоне.

[32] Plut. in Vit. Them. Heraclides et Idomeneus ap. Athen., lib. 12.

[33] См. "Тур по Греции" Додуэлла, "Маршрут" Гелла.

[34] "Называемая некоторыми Лаурион Орос, или гора Лаурион". Маршрут Гелла.

[35] Boeckh's Dissert. on the Silver Mines of Laurium.

[36] Boeckh's Dissert. on the Silver Mines of Laurium.

[37] По этому вопросу см. Boeckh. Dissert. on the Silver Mines of Laurion, в связи с рассказом Диодора.

[38] Если не считать смерти брата, в рассказе Камбиса Ктесия мы не находим ни одного из преступлений Камбиса Геродота - и даже это братоубийство теряет свой более суровый аспект в рассказе Ктесия, а Камбис представлен как преданный преступлению из-за искренней веры в измену своего брата.

[39] Рассказ об этом заговоре у Ктесия кажется более неправдоподобным, чем тот, что дает нам Геродот. Но в обоих случаях самые необычные черты заговора одинаковы: поразительное сходство между самозванцем и мертвым принцем и полный успех, который на некоторое время сопутствовал обману. В обоих повествованиях мы также можем уловить за главными лицами, якобы выведенными вперед, очертания глубокого замысла волхвов отвоевать у персидских завоевателей и закрепить за мидянином империю Востока.

[40] Геродот говорит, что было решено, что царь может жениться только на семье одного из заговорщиков; но Дарий женился на двух дочерях и одной внучке Кира. Более созвучно восточным нравам предположить, что было решено, чтобы царь отдавал своих дочерей в жены представителям этих шести домов. Вряд ли можно было претендовать на монополию царского сераля, независимо от того, были ли его жильцы женами или наложницами, и, по всей вероятности, выбор царя был ограничен (и то не очень жестко) только семьей Кира и многочисленным и привилегированным родом Ахеменидов.

[41] Помимо регулярных субсидий, мы узнаем из Геродота, I. с. 92, что все население должно было находить пропитание для царя и его войск. Вавилон обеспечивал пропитание в течение четырех месяцев, причем ресурсов этой сатрапии хватало на третью часть Азии.

[42] Эта сравнительно небольшая и пограничная часть Индии, известная Дарию.

[43] Доход более 100 000 фунтов стерлингов - Персы Гирена, глава ii.

[44] Так выражается Геродот. Его свидетельство подтверждается анекдотами из его собственной истории, да и всеми другими древними авторитетами.

[45] Динон. (Apud Athen., lib. xiii.) замечает, что персидская царица терпела множество наложниц, обычных для царского сераля, потому что они поклонялись ей, как божеству.

[46] См. в дополнение к более известным авторитетам любопытные замечания и анекдоты о роскоши персидских царей в цитатах из Динона, Гераклида, Агафокла и Хареса Митиленского, разбросанных по Афинею, lib. xii., xiii., xiv.; но особенно lib. xii.

[47] Страбон, lib. xv, Ирод, lib. i., с. cxxxii. и т. д.

[48] Среди бесчисленных примеров презрения к человеческой жизни, проявленного после завоевания теми самыми персами, которые в своей горной безвестности не позволяли ни своему государю предать кого-либо смерти за одно преступление, ни хозяину дома проявить излишнюю строгость к члену своей семьи (Herod., lib. i., с. cxxxvii.), есть один, записанный Геродотом и в основном подтвержденный Юстином. Дарий осаждает Вавилон; Зопир, один из семи заговорщиков против мага, калечит себя и входит в Вавилон как дезертир, предварительно договорившись с Дарием, что тысяча человек, потерю которых он может пощадить, должна быть отправлена в один день к воротам Семирамиды, две тысячи - в другой день к воротам Нина, и четыре тысячи - в третий день к воротам Халдеи. Все эти отряды Зопир, во главе вавилонян, намеренно перебил. Заручившись доверием вавилонян, Зопир получил возможность предать город царю. Это хладнокровное и вероломное умерщвление семи тысяч подданных гуманней Дарий и персы в целом сочли доказательством самой выдающейся добродетели Зопируса, который получил за это в награду сатрапию Вавилона. Повествование настолько иносказательно, что имеет внутреннее подтверждение своей общей правдивости. В самом деле, перс заботился бы о жизни семи тысяч медяков не больше, чем спартанец - о жизни подозрительных гелотов".

[49] Herodot., lib. i., с. cxxxiv. Пасаргады, которых древние писатели явно и часто путают со всем персидским населением, сохранили старое воспитание и суровую дисциплину для своей молодежи, долгое время после того, как старые добродетели угасли. (См. Strabo, xv., Herod., lib. i., и риторический роман Ксенофонта.) Но законы и обычаи, из которых ушел одушевляющий дух национального мнения и настроения, являются лишь кенотафами мертвых форм, забальзамированных впустую.

[50] Ctesias, 20.

[51] Herod., lib vii., c. xi.

[52] Ювенал, Ричардсон и др. Приготовления на горе Афон начались за три года до того, как Ксеркс прибыл в Сарды. (Сравните Herod., l. vii. 21, c 33, 37.)

[53] Подсчитано по-разному; согласно Монфокону, общая сумма может быть оценена в тридцать два миллиона луидоров.

[54] Надо признать, что слезы Ксеркса были немного неуместны. Он плакал о том, что люди не могут прожить сто лет, в тот самый момент, когда задумал уничтожить изрядную их часть, как только сможет.- Senec. de Brev. Vit., c. 17.

[55] Распространено также у древних германцев.

[56] По этой причине, кто бы ни умирал, будь то от болезни или в бою, его место немедленно занимали. Таким образом, их число неизменно оставалось неизменным.

[57] Diod. Sic.

[58] См. примечание [48].

[59] Her., lib. vii., c. 138.

[60] Мюллер о греческом конгрессе.

[61] Мюллер о греческом конгрессе.

[62] Анаксандрид, царь Спарты, отец Клеомена и Леонида, женился на своей племяннице, но она оказалась бесплодной. Эфоры уговорили его взять другую жену; он так и сделал, и от второй жены родился Клеомен. Почти в то же время первая жена, до сих пор бесплодная, оказалась с ребенком. И поскольку она продолжала супружескую связь, со временем родилось три сына, из которых Леонид был вторым. Но Клеомен, хотя и был отпрыском второй жены, появился на свет раньше детей от первой жены и поэтому имел преимущественное право на престол.

[63] Никакими расчетами невозможно сделать эту сумму более правдоподобной для современного скептицизма. Крайне вероятно, что Геродот ошибся в своих расчетах; но кто его поправит?

[64] Цисии, или цисиане, населяли тогда плодородную провинцию Сузиану, в которой находилась столица Сузы. По одежде и манерам они напоминали персов.

[65] Так считает Геродот (lib. vii., c. 218); но, поскольку было лето, шум, скорее всего, производили сучья, преграждавшие путь варварам, а не листья на земле.

[66] Diod. Sic., xi., viii.

[67] Justin, ii., ix.

[68] Другой спартанец, который был послан в Фессалию и поэтому отсутствовал при Фермопилах, покончил с собой.

[69] Крест был обычным наказанием в Персии за преступления против царского величия или прав. Возможно, таким образом Ксеркс лишь хотел показать, что считает спартанца мятежником.

[70] "Так сражались греки при Фермопилах", - так просто выражается Геродот, lib. vii., c. 234.

[71] Таким образом, командование афинскими войсками в одно время могло перейти к Эпикиду, человеку, чье превосходное красноречие завоевало превосходство в народе, которое не было связано ни с его честностью, ни с его военным мастерством. Говорят, что Фемистокл подкупил его, чтобы он отказался от своих притязаний. Фемистокл мог быть как суровым, так и хитрым, когда того требовал случай: он предал смерти переводчика, сопровождавшего персидских посланников, вероятно, на конгресс на Перешейке [Плутарх предполагает, что эти посланники прибыли в Афины, но Ксеркс не посылал их в этот город], за то, что тот искажил язык свободных греков, чтобы выразить требования варварского врага.

[72] Плутарх отвергает эту историю, весьма косвенно рассказанную Геродотом, не приводя ни одного удовлетворительного аргумента в пользу ее отрицания. Скептицизм Плутарха более легкомысленный, чем его легкое верие.

[73] Demost., Philip. 3. См. также Aeschines contra Ctesiphon.

[74] Я уже говорил, что можно сомневаться, была ли смерть Леонида столь полезной для Греции, как могла бы быть его жизнь; ее непосредственные последствия, безусловно, были обескураживающими. Если его доблесть была примером, то его поражение стало предупреждением.

[75] Их было [триста, для круглых цифр, но один из трехсот - возможно, двое - уцелел в общей резне] триста спартанцев и четыреста феспийцев; если предположить, что (как утверждается) восемьдесят воинов из Микен также остались с Леонидом, и что сто, или четвертая часть фиванцев, пали до того, как была получена их покорность, то общее число их составит восемьсот восемьдесят. Если мы возьмем теперь то, что в Платее было фактическим соотношением гелиотов по сравнению со спартанцами, то есть семь к одному, мы добавим две тысячи сто гелиотов, что составит две тысячи девятьсот девяносто; к этому следует добавить тех греков, которые пали во время нападений до Фермопильской резни; таким образом, чтобы составить общее число убитых, данное Геродотом, более одиннадцатисот должны были погибнуть до последнего действия, в котором пал Леонид.

[76] Plut. in vit. Them.

[77] Ibid.

[78] Указывается по-разному; у Эсхила и Непота - триста, у Фукидида - четыреста.

[79] Plut. in vit. Them.

[80] Здесь мы видим дополнительный повод для восхищения проницательностью Фемистокла.

[81] Her., lib. viii., c. 74.

[82] Воспитатель его детей, Сицинн, который был знаком с восточными нравами и говорил на персидском языке.

[83] Число персидских галер, по самым скромным подсчетам, составляло тысячу [Непос, Геродот и Исократ считают, что их было около двенадцати сотен; оценка в тысячу взята из сомнительного и спорного места в Эсхиле, которое может быть истолковано так, что означает тысячу, включая двести семь судов, или помимо двухсот семи судов; то есть двенадцать сотен и семь всего, что и является точным числом, указанным Геродотом. Ктесий говорит, что их было больше тысячи]; у греков, как мы видели, триста восемьдесят. Но персы были бесконечно более укомплектованы, имея на борту каждого судна тридцать воинов, в

дополнение к обычному числу в двести человек. Плутарх, по-видимому, считает, что на каждом афинском судне было четырнадцать тяжеловооруженных и четыре лучника. Но это означает, что все афинское войско состояло всего из трех тысяч двухсот сорока человек, включая лукистов, которые, вероятно, не были афинскими гражданами. Поэтому следует предположить, как и мистер Тирлуолл, что указанные восемнадцать человек были дополнением к обычной компании.

[84] Aeschylus. Persae. 397.

[85] Ктесий утверждает, что персидский адмирал в Саламине был Онафасом, тестем Ксеркса. Согласно Геродоту, это был Ариабигнес, брат царя, который, похоже, тождественен Артабазану, с которым он оспаривал трон. Herod., lib. vii., с. 2, и lib. viii., с. 89.

[86] Plut. in vit. Them.

[87] Plut. in vit. Them. Ариамены у Плутарха - это Ариабигны у Геродота.

[88] Мистер Митфорд, не обращая внимания на эту ошибку Ксеркса, особенно отмеченную Геродотом, просто замечает: "Согласно Геродоту, хотя в данном случае нам трудно отдать ему должное, Ксеркс с берега, где он сидел, видел, восхищался и аплодировал этому подвигу". Из этого отрывка можно предположить, что Ксеркс знал, что напали на его друга, и тогда, действительно, мы не могли бы доверять этому рассказу; но если он и те, кто был рядом с ним, считали его, как утверждает Геродот, врагом, то что тут невероятного? Это один из десяти тысяч более важных примеров привычки мистера Митфорда аргументировать одно предложение, опуская те, что следуют за ним и предшествуют ему".

[89] Diod., lib. xi., с. 5. Herod., lib. viii., с. 110. Nepos, et Plut, in vit. Them.

[90] Plut. in vit. Them.

[91] Ibid. Эти анекдоты имеют печать подлинности.

[92] Herod., lib. viii., с. 125. См. комментарий Весселинга к Тимодему. Плутарх рассказывает тот же самый анекдот, но делает озадаченного обличителя Фемистокла гражданином Серифа, острова, на котором, по словам Аэлиана, лягушки никогда не квакали; люди, похоже, компенсировали молчание лягушек!

[93] См. Fast. Hell., vol. ii., page 26.

[94] Plut. in vit. Arist.

[95] Ibid.

[96] Обычай лапидаций был характерен для ранних веков; он имел своего рода санкцию и в особых преступлениях; и ни одно преступление не могло считаться храбрым и воспаленным народом равным совету против своей чести и свобод.

[97] См. Herod., lib. ix., с. 10. Также г-н Клинтон о царях Спарты. Fast. Hell., vol. ii., p. 187.

[98] См. Herod., lib. vi., с. 58. После погребения спартанского царя десять дней посвящались трауру; в этот промежуток времени не совершалось никаких государственных дел.

[99] "Согласно указу Аристиды, - говорит Плутарх, - афинскими посланниками были Аристид, Ксантипп, Миронид и Кимон".

[100] Геродот говорит о полном опустошении и разорении. Но сколько веков памятники Писистрата пережили опустошение персидского меча!

[101] Plut. in vit. Arist.

[102] Этот случай, среди тысячи анекдотов, доказывает, насколько полезным и неизбежным было народное недоверие к аристократии. Когда мы читаем о процессе подкупа главных людей и о заговоре, в который вступили другие, мы должны с презрением относиться к тем обвинениям в ревности греческого народа к своим начальникам, которые являются основными заявлениями банальных историков.

[103] Гаргафия находится в полутора милях от города Платеи. Gell's Itin. 112.

[104] Plut. in vit. Arist.

[105] Странное падение от древнего великолепия Микен, чтобы предоставить только четыреста человек, вместе с Тирином, для дела Греции!

[106] Her., lib. ix., c. 45.

[107] Plutarch in vit. Arist.

[108] Этот рассказ Геродота о контрасте между спартанскими и афинскими вождями, который широко поддерживается в других местах, является, как я уже намекал, доказательством того, что мученическая смерть Леонида оказала незначительное влияние на спартанское подражание. Несомненно, спартанцы были больше напуганы Фермопильской резней, чем воодушевлены желанием отомстить".

[109] "Здесь, кажется, несколько островов, образованных вялым потоком на плоском лугу. (Оерое?), должно быть, был такого же типа" - "Gell's Itin", 109.

[110] Herod., lib. ix., c. 54.

[111] Plut. in vit. Arist.

[112] Sir W. Gell's Itin. of Greece.

[113] Herod. lib. ix., c. 62.

[114] Тегейцы уже захватили палатку Мардония, завладев, в частности, любопытными медными яслями, из которых кормили коня перса, а затем посвятили их алейской Минерве.

[115] Я принимаю чтение Валькнера: "tous hippeas". Спартанские рыцари, числом в триста человек, не имели никакого отношения к коннице, а сражались пешими или верхом, в зависимости от необходимости. Они составляли царский телохранитель (Dionys. Hal., xi., 13.).

[Мистер Митфорд объясняет его отсутствие на сцене какой-то ревностью к почестям, которые он получил в Спарте, и тщетной славой, с которой он их носил. Но неясные замечания авторов, на которых он ссылается, ни в коей мере не подтверждают эту догадку, и не кажется вероятным, что ревность была либо общей, либо достаточно острой, чтобы нанести столь серьезный ущерб общественному делу. Когда афинянам угрожала серьезная и неминуемая опасность, они не задумывались обо всех мелких завистниках форума, пока находились в лагере. Зависть, которую возбуждал Фемистокл, возникла гораздо позже. Вероятно, в этот период на него была возложена очень важная обязанность - следить за той

значительной, но разрозненной частью афинского населения, которая не была занята ни в Микале, ни в Платее.

[117] Thucyd., lib. i., c. 89.

[118] Ibid., lib. i., c. 90.

[119] Diod. Sic., lib. xi.; Thucyd., lib. i., c. 90.

[120] Ap. Plut. in vit. Them.

[121] Диодор (lib. xi.) рассказывает, что спартанские послы, разразившиеся угрожающими и жестокими речами, увидев, что стены продвинулись так далеко, были арестованы афинянами, которые заявили, что отпустят их только после получения целых и невредимых своих послов.

[122] Thucyd., lib. i., c. 91.

[123] Ibid., lib. i., c. 92.

[124] Schol. ad Thucyd., lib. i., c. 93. См. Clinton, Fasti Hell., vol. i., Introduction, p. 13 и 14. Г-н Тирлуолл, т. ii., с. 401, оспаривает дату архонтства Фемистокла, указанную г-ном Клинтоном и подтвержденную схолиастами Фукидида. Он принимает (стр. 366) дату, которую М. Бёкх основывает на Филохоре, а именно 493 г. до н. э. Но Фемистокл, который был архонтом в этом году, очевидно, другой человек, нежели Фемистокл из Саламины; ведь в 493 году этому герою было около двадцати одного года - возраст, в котором бастард Неоклеса мог катать куртизанок на колеснице (как записано у Афиней), но точно не был архонтом Афин. Что касается предложенной М. Бёкхом поправки, столь уважительно процитированной г-ном Тирлуоллом, согласно которой мы должны читать Гибрилидон вместо Кебридоса, то это предположение настолько причудливо, что не требует никаких аргументов для отказа ему в вере. Датировка г-на Клинтон для архонтства великого Фемистокла - это дата, наиболее подкреплённая внутренними доказательствами: во-первых, пробелами 481-482 гг. в списке архонтов; во-вторых, возрастом, положением и репутацией Фемистокла в 481 г. до н. э., через два года после остракизма его соперника Аристиды. Если бы дело свелось к простому соревнованию вероятностей между мистером Клинтоном с одной стороны и мистером Бёкхом и мистером Тирлуоллом с другой, что более вероятно, что Фемистокл должен был стать главным архонтом Афин в двадцать один год или в тридцать три года - до битвы при Марафоне или после победы над Аристидом? Ведь и школьник знает, что в двадцать один год (а Фемистокл в 493 году был точно не старше) ни один афинянин не мог быть архонтом. По всей вероятности, Кебридос правильно читает Филохора и сообщает нам имя архонта в 487 или 486 году до н. э., эти годы до сих пор были хронологическими пробелами, пока речь шла об афинских архонтах.

[125] Pausan., lib. i., c. 1.

[126] Diod., lib. xi.

[127] Diod., lib. xi.

[128] Diod., lib. xi. Читатель поймет, что я не согласен с мистером Тирлуоллом и некоторыми другими учеными, к общему мнению которых я отношусь с большим уважением, в том, что они полностью и с презрением отвергают рассказ Диодора о мерах предосторожности Фемистокла. Мне кажется весьма вероятным, что основные черты этой истории переданы нам верно: во-первых, что не было сочтено целесообразным подробно изложить народному

собранию все цели и мотивы предполагаемого строительства нового порта; и, во-вторых, что Фемистокл не пренебрег отправкой послов в Спарту, хотя, конечно, не с намерением вести себя со спартанцами более откровенно, чем с афинянами.

[129] Thucyd., lib. i.

[130] Aristot. Pol., lib. ii. Аристотель считает, что рассуждения философского архитектора достойны суровой и тщательной критики.

[131] Из всех храмов наиболее примечательными во времена Павсания были храмы Минервы и Юпитера. Тогда было две рыночные площади. См. Павсаний, lib. i., с. i.

[132] Однако в это время Амфикинийский совет был настолько слаб, что, если бы спартанцы добились успеха, они бы приобрели лишь пустую власть; если только, действительно, с проектом получения большинства голосов, они не объединили еще один для реформирования или оживления этого учреждения.

[133] Thucyd., lib. i., с. 96.

[134] Heeren, Pol. Hist. of Greece.

[135] Corn. Nep. in vit. Paus.

[136] Thucyd., lib. i., с. 129.

[137] Plut. in vit. Arist.

[138] Ibid.

[139] Thucyd., lib. i.

[140] Plut. in vit. Cimón. До этого периода Кимон, хотя и стал знаменитым, едва ли мог быть адекватным соперником Фемистокла.

[141] Corn. Nep. in vit. Cim.

[142] Согласно Диодору, Кимон в начале жизни заключил очень богатый брак; Фемистокл рекомендовал его богатому тестю в остроте, которую, с небольшим изменением, записал и Плутарх, хотя он не дает ее применения к Кимону.

[143] Corn. Nep. in vit. Cim.

[144] Thucyd., lib. i.

[145] Ibid., lib. i. Plut. in vit. Cim. Diod. Sic., lib. xi.

[146] См. Clinton, Fast. Hell., vol. ii., p. 34, в комментарии к Бентли.

[147] Athenaeus, lib. xii.

[148] Plut. in vit. Them.

[149] Plut. in vit. Aristid.

[150] Около двадцати трех английских акров. Это было отнюдь не презренное поместье на ограниченной почве Аттики.

[151] Aristot. apud Plat. vit. Cim.

[152] Произведено в равной степени антинародной партией под народными предлогами. Именно с санкции г-на Питта в Англии была введена проституция благотворительности для трудоспособных.

[153] Plut. in vit. Cim.

[154] Брат его отца, Клеомен, умер в безумии, как мы уже видели. Таким образом, в семье было безумие.

[155] Plut. in vit. Cim. Pausanias, lib. iii., с. 17.

[156] Pausanias, lib. iii., с. 17.

[157] Фигалея, согласно Павсанию.

[158] Plut. in vit. Cim.

[159] Thucyd., lib. i.

[160] Plato, leg. vi.

[161] Nep. in vit. Paus.

[162] Павсаний замечает, что его знаменитый тезка был единственным просителем, укrywшимся в святилище Минервы Халкиозка, который не получил божественной защиты, и это потому, что он так и не смог очистить себя от убийства Клеоники.

[163] Thucyd., lib. i., 136.

[164] Plut. in vit. Them.

[165] Thucyd., lib. i., 137.

[166] Мистер Митфорд, сомневаясь в этом факте, пытается, со свойственной ему изворотливостью, возвести на сам факт, в котором он сомневается, упреки в ужасах демократического деспотизма. Странная практика для историка - допускать, что предпосылки ложны, а затем утверждать, что они истинны!

[167] Краткое письмо к Артаксерксу, приведенное Фукидидом (lib i., 137), является столь же очевидным сочинением самого Фукидида, как и знаменитая оратория, которую он вкладывает в уста Перикла. В каждой из них присутствует жесткий, твердый и цепкий стиль, столь характерный для историка, на которого ни один другой греческий писатель не имеет ни малейшего сходства. Но суть может быть более подлинной, чем дикция.

[168] Во время его прибытия в Азию Ксеркс, по-видимому, был еще жив. Но он появился в Сузах в короткий промежуток времени между смертью Ксеркса и официальным воцарением его сына, когда в результате кровавого переворота, о котором еще предстоит рассказать, Артабан был возведен во главе Персидской империи: до истечения года Артаксеркс был на троне.

[Я привожу этот последний рассказ о смерти Фемистокла не только потому, что Фукидид (хотя и предпочитает первый) не пренебрегает его цитированием, но и потому, что из речи Никия в "Рыцарях" Аристофана, i. 83, 84, очевидно, что во времена Перикла афиняне были широко убеждены, что Фемистокл умер от яда, и по мотивам, которые делали упоминание о его смерти популярным бредом. Ясно также, что смерть Фемистокла, по-видимому, сразу же примирила его с афинянами. Прежние подозрения в его верности Греции, похоже, не

поддерживались даже яростью партии; и естественно предположить, что это должен был быть какой-то его собственный поступок, реальный или воображаемый, который опроверг бы правдоподобные обвинения против него и возродил всеобщий энтузиазм в его пользу. Чем же мог быть этот поступок, как не последним в его жизни, который в строках Аристофана, упомянутых выше, приводится как идеал славной смерти! Но если он умер от яда, то это была не кровь быка, смертоносная природа которой была одной из пошлых басен древних. В некоторых частях континента она и по сей день используется в качестве лекарства.

[170] Plut. in vit. Them.

[171] Plut. in vit. Them.

[172] Thucyd., lib. i.

[173] Diod., lib. xi.

[174] Plut. in vit. Cim.

[175] Diod. (lib. xi.) считает число пленных в двадцать тысяч! Эти преувеличения низводят славу до уровня бурлеска.

[176] Cyaneae. Плин. vi., с. 12. Herod. iv., с. 85, etc. etc.

[177] Thucyd., lib., 99.

[178] Plut. in vit. Cim.

[179] Ведь осада Фасоса длилась три года; на второй год мы видим, как Кимон отправляется на помощь спартанцам; на самом деле, осада Фасоса не имела достаточного значения, чтобы оправдать очень длительное отсутствие Кимона в Афинах.

[180] Plut. in vit. Cim.

[181] Plut. in vit. Cim.

[182] Те историки, которые полагаются на небрежные предложения Плутарха, что Перикл сделал Эфиальта "инструментом" в нападениях на Ареопаг, как ни странно, ошибаются как в характере Перикла, который был диктаторским, а не хитрым, так и в положении Эфиальта, который в то время был лидером своей партии и гораздо более влиятельным, чем сам Перикл. Платон (ар. Plut. in vit. Peric.) справедливо считает Эфиальта истинным ниспровергателем Ареопага; и хотя Перикл помогал ему (Aristot., l. ii., с. 9), гнев аристократии был направлен именно против Эфиальта как вождя, а не "орудия".

[183] См. Demosth. adv. Aristocr., p. 642. ed. Reisk. Herman ap. Heidelb. Jahrb., 1830, № 44. Forckhammer de Areopago, etc. против Воеckh. Я не могу согласиться с теми, кто придает столь большое значение Эсхилу в трагедии "Фурии" как авторитету в пользу мнения, что нововведения Эфиальта лишили Ареопаг юрисдикции в делах об убийстве. Верно, что в пьесе речь идет о происхождении трибунала, верно, что в ней прославляется его незапамятное право выносить решения по делам об убийстве и что Минерва провозглашает, что этот судебский корпус останется навеки. Но разве можно рисковать этим пророчеством в тот самый момент, когда этот суд собираются упразднить? В той же речи Минервы есть гораздо более прямой намек на полицию суда в страхе и почтении, причитающемся ей; и следуют сильные увещания не почитать анархию или тиранию и не изгонять "всякий страх из города", которые гораздо более убедительно относятся к совету, чем к суду Ареопага.

[184] То, что Ареопаг до указа Эфиальта обладал властью над финансами, следует из отрывка Аристотеля (ар. Plut. in vit. Them.), в котором говорится, что во время похода на Саламин Ареопаг присудил каждому человеку по восемь драхм.

[Плутарх приписывает его остракизм негодованию афинян после его возвращения из Итомы, но это ошибочно. Он был подвергнут остракизму только через два года после возвращения.

[186] Mikaeas epilabomenoi prophaseos.-Plut. in vit. Cim. 17.

[187] Ни Аристотель (Polit., lib. v., с. 10), ни Юстин, ни Ктесий, ни современники не говорят об убийце как о родственнике Ксеркса. У Плутарха (Vit. Them.) он - Артабан Хилиарх.

[188] Ктесий, 30; Диод, 11; Юстин, lib. iii., с. 1. Согласно Аристотелю, Артабан, будучи начальником царской стражи, получил приказ скрыться от Дария, пренебрег приказом и убил Ксеркса, опасаясь за свою безопасность.

[189] Thucyd., lib. i., 107. Тремя городами Дориды были, согласно Фукидиду, Беум, Цитиний и Эриней. Схолиаст о Пиндаре (Pyth. i., 121) говорит о шести городах.

[190] Thucyd., lib. i.

[191] Фукидид, упоминая об этих операциях афинян и последующих опасениях спартанцев, доказывает, до какой степени затянулись военные действия, хотя война не была открыто объявлена.

[192] Diod. Sic... lib. xi.

[193] Thucyd., lib. i.

[194] Diod., lib. xi.

[195] Некоторые немецкие историки, в том числе Мюллер, строят огромные выводы на самых незначительных данных, когда предполагают, что Кимон был замешан в этом заговоре. Мейерс (Historia Juris de bonis Damnatis, p. 4, прим. 11) крайне неудачно связывает предполагаемый штраф в пятьдесят талантов, понесенный Кимоном, с гражданскими волнениями этого периода. На самом деле, то, что Кимон вообще был оштрафован, очень маловероятно; предположение опирается на весьма неопределенные основания: если его принять, то более вероятно, что штраф был наложен после его возвращения с Фасоса, когда он был обвинен в пренебрежении честью афинского оружия и соблазнении македонским золотом (обвинение именно того характера, за которое полагался штраф). Но вся история об этом мнимом штрафе, основанная на фразе Демосфена, который, как и многие ораторы, не отличался точностью в исторических фактах, возможно, является не более чем путаным повторением старой истории о штрафе в пятьдесят талантов (та же сумма), наложенном на Мильтиада и действительно выплаченном Кимоном. Это становится вдвойне и даже бесспорно ясным, если мы примем чтение Беккером слова Parion вместо patrimon в упомянутом предложении Демосфена.

[Если верить "Орации о мире", приписываемой Андокиду, то во время отъезда Кимон проживал в своих родовых поместьях в Херсонесе. Поскольку Афины сохранили свое право на суверенитет над этой колонией, и поскольку это была очень важная позиция в отношении недавних афинских завоеваний при самом Кимоне, это утверждение, если оно верно, покажет, что остракизм Кимона не сопровождался чрезмерными преследованиями. Если бы

правительство всерьез подозревало его в попустительстве олигархическим заговорщикам, оно вряд ли позволило бы ему оставаться в колонии, местность которой особенно благоприятствовала любым изменническим замыслам, которые он мог вынашивать.

[197] При отзыве Кимона, рассказывает Плутарх, некоторые историки утверждали, что между двумя партиями была достигнута договоренность о разделении управления государством; Кимон должен был получить внешнее командование на Кипре, а Перикл оставался главой внутреннего правительства. Но только на шестой год после своего отзыва (т. е. в архонтство Евтидема, см. Диодор xii.) Кимон отправился на Кипр; до этого события Перикл сам отсутствовал в иностранных походах.

[198] Плутарх, перепутав даты, смешивает это короткое перемирие с пятилетним перемирием, заключенным через некоторое время после этого. Митфорд и другие последовали за ним в его ошибке. То, что за отзывом Кимона не последовало мира не только со спартанцами, но и с пелопоннесцами в целом, очевидно из вторжений Толмида, о которых сейчас пойдет речь.

[199] Diod lib. xi.

[200] См. книгу Мюллера "Дорийцы" и цитируемые им источники. Vol. i., b. I.

[201] Ибо так я толкую Диодора.

[202] Diod. Sic., lib. xi.

[203] В Фессалии существовала демократическая партия, всегда благосклонная к Афинам. См. Thucyd., iv., с. 88.

[204] Теперь Лепанто.

[205] Paus., lib. ii., с. 25.

[206] Plut. in vit. Peric.

[207] Thucyd., lib. i., 112.

[208] Diod., lib. xi. Plut. in vit. Cim. Heeren, Manual of Ancient History; но г-н Митфорд и г-н Тирлуолл правильно отвергают этот поддельный договор.

[209] Plut. in Cim.

[210] Облака.

[211] Isoc. Areop., 38.

[212] Idomen. ap. Athen., lib. xii.

[213] Thucyd., lib. ii., 16; Isoc. Areopag., е. xx., p. 234.

[214] Если верить Плутарху, что жены сопровождали своих мужей в дом Аспазии (а это, несомненно, было популярным обвинением против Перикла, что Аспазия служила для развращения афинских матрон), они не могли быть так ревностно ограничены, как хотят представить писатели, судя по отрывкам греческих авторов, описывающих не то, какими были женщины, а то, какими они должны были быть. Можно также заметить, что народные анекдоты представляют Эльпинику как женщину-интриганку, занятую политикой и

посредничающую между Кимоном и Периклом; анекдоты, независимо от того, являются ли они строго достоверными или нет, по крайней мере, иллюстрируют состояние общества.

[215] Поскольку в одной из последующих частей этой работы я предполагаю подробно остановиться на общественной жизни и привычках афинян, у меня будет полная возможность более подробно рассказать об этих необычных героинях Алкифрона и поздних комедиографов.

[216] Примерно через пять лет после смерти Кимона Перикл получил ту верховную власть, которая походила на тиранию, но была лишь выражением и концентрацией демократической воли.

[217] Theophrast. ap. Plut. in vit. Per.

[218] Justin, lib. iii., c. 6.

[219] Для самой передачи были найдены оправдания более правдоподобные, чем те, которые приводит Юстин. Во-первых, в год после разрыва между спартамцами и афинянами (460 г. до н. э.), вероятно, в тот же год, когда был осуществлен перенос, афиняне снова были в состоянии войны с великим царем в Египте; поэтому в аргументе, отмеченном Боэцием (хотя в источнике, откуда он его черпает, аргумент относится к более раннему времени Аристиде), что перенос обеспечил место большей безопасности против варваров, есть доля справедливости. Во-вторых, сам Делос уже давно находился под афинским влиянием. Писистрат провел очищение острова [Herod., lib. i., c. 64], делийские прорицатели предсказали Афинам суверенитет над морями [Semius Delius, ap. Athen., viii.], и афиняне, похоже, присвоили себе право вмешиваться в дела храма. Поэтому, вероятно, внешне передача была не более чем передачей места, находящегося под властью Афин, самим Афинам. В-третьих, кажется, что когда вопрос был впервые поднят при жизни Аристиде, это произошло по желанию одного из самих союзников (саамийцев). [Plut. in vit. Aristid. Boeckh (vol. i., 135, перевод) не имеет оснований предполагать, что Перикл повлиял на саамитян в выражении этого желания, поскольку Плутарх относит рассказ ко времени Аристиде, при жизни которого Перикл не имел никакого влияния на государственные дела].

[220] Утверждение Диодора (lib. xii., 38), что Периклу было доверено руководство и управление сокровищами, подтверждается анекдотами Плутарха и других авторов, в которых Перикл представлен как главный распорядитель средств.

[221] Политический характер и предвзятость Гелиэи очевидны в самой клятве, сохранившейся в Demost. con. Tim., p. 746, ed. Reiske. В ней гелиаст клянется никогда не голосовать за установление тирании или олигархии в Афинах и не слушать никаких предложений, направленных на разрушение демократической конституции. То есть человек вступал в судебный трибунал, давая политическую клятву!

[222] Эти суды уподобляли современным присяжным; но они были очень мало связаны формами и прецедентами, которые сковывали последних. Каким был бы суд присяжных, даже в наши дни состоящий всего из двенадцати человек, если бы он был полностью предоставлен импульсу и партийному чувству, легко представит себе любой юрист. Насколько более капризными, неопределенными и предвзятыми будут присяжные из пятисот, а в некоторых случаях из тысячи или пятнадцатисот человек! [При соединении двух или более коллегий, как в делах Eisangelia. Poll. viii., 53 и 123; также Tittman].

[223] "Созданный нашими предками, - говорит Аристотель (Pol., lib. viii, c. 3), - не просто для удовольствия, как многие сейчас считают, а для дисциплины, чтобы научить ум не только с

честью вести дела, но и достойно наслаждаться досугом; ведь такое наслаждение - это, в конце концов, конец дел и граница активной жизни".

[224] См. Аристотель. (Pol., lib. viii., с. 6.)

[225] Анекдот в Gellius, lib. xv., с. 17, относит дату прекращения использования этого инструмента к возрасту Перикла и юности Алкивиада.

[226] Впоследствии рисование изучалось как отрасль образования, необходимая для многих обычных занятий в жизни.

[227] Суид.

[228] Гекатей также был родом из Милета.

[229] Pausan., ii., с. 3: Cic. de Orat., ii., с. 53; Aulus Gellius, xv., с. 23.

[230] Fast. Hell., vol. i.

[231] Блестящий автор "Эдинбургского обозрения" (мистер Маколей) объясняет использование диалога у Геродота детским простодушием, свойственным раннему и бесхитростному возрасту - ведь хам всегда бессознательно прибегает к драматической форме повествования и рассказывает свою историю серией "говорит он" и "говорит я". Но разве мистер Маколей, как и многие другие, не слишком настаивает на бесхитростности эпохи и неумелом простодушии писателя? Хотя сама история была молода, искусство уже находилось в зените. Это был век Софокла, Фидия и Перикла. Именно от афинян, в период их наибольшего расцвета, Геродот получил самые восторженные аплодисменты. Разве все рассказы о Геродоте как о писателе не убеждают нас в том, что он провел большую часть своей долгой жизни, сочиняя, шлифуя и совершенствуя свою историю; и разве не соответствует характерному духу времени и мастерским эффектам, которые производит Геродот, вывод, что то, что мы считаем бесхитростностью, на самом деле было преднамеренной разработкой искусства?

[232] Эсфирь iii., 12; viii., 9: Эзра vi., 1.

[233] Herod., vii., 100.

[234] Примерно на двадцать девять лет моложе. Hell., vol. ii., p. 7.

[235] Cic. Acad. Quaest., 4, Abbe de Canaye, Mem. de l'Acad. d'l* *crip., tom. x. etc. (*неразборчивые буквы).

[236] Diog. Laert., cap. 6., Cic. Acad. Quaest. 4, etc.

[237] Arist. Metap. Diog. Laert. Cic. Quaest. 4. etc.

[238] Должно оставаться спорным вопросом, насколько ионийский Пифагор находился под влиянием привязанности к дорийской политике и обычаям и насколько он стремился создать государство по старой дорийской модели. С одной стороны, несомненно, что он уделял особое внимание обрядам и институтам, наиболее связанным с дорийским божеством Аполлоном, и, по словам его последователей, именно от этого бога он получил свое рождение, что можно истолковать как дорийское происхождение; Он выбрал Кротон в качестве своей резиденции, потому что она находилась под защитой "его домашнего бога";

его доктрины, как говорят, произносились на дорийском диалекте; и большая часть его образовательной дисциплины, большая часть его политической системы имеют очевидное сходство со старыми критскими и спартанскими институтами. Но, с другой стороны, вполне вероятно, что Пифагор благоволил к дельфийскому богу, отчасти из-за тесной связи многих его символов с метафизическими умозрениями, которые философ научился культивировать в школах восточного мистицизма, а отчасти из-за того, что Аполлон был покровителем медицинского искусства, в котором Пифагор был выдающимся профессором. А изучая учреждения Крита и Спарты, он, скорее, хотел укрепить примерами уже принятую им систему, чем почерпнуть из этих дорийских городов примитивные и руководящие понятия о конституции, которую он впоследствии создал. И в этом Пифагор мог походить на большинство реформаторов не только своей эпохи, но и всех веков, которые стремятся вернуться к самым ранним принципам прошлого как к источникам опыта для будущего. В дорийских институтах сохранился первоначальный характер эллинской нации; и Пифагор, возможно, ценил их или советовался с ними не столько потому, что они были дорийскими, сколько потому, что они были древними. Однако кажется совершенно очевидным, что в характере своих законов он стремился соответствовать духу и способу законодательства, уже известному в Италии, поскольку Харондас и Залевк, процветавшие до него, причисляются Диодором и другими к его ученикам.

[239] Ливий датирует его правлением Сервия Тулла.

[240] Страбон.

[241] Iamblichus, c. viii., ix. См. также Plato de Repub., lib. x.

[242] То, что ахейские правительства были демократиями, достаточно очевидно; это не противоречит замечанию Ксенофонта, что тимократии были "по законам ахейцев", поскольку тимократии были лишь модифицированными демократиями.

[243] Пифагорейцы собрались в доме борца Милона, который был выдающимся полководцем, и самые известные из учеников были забиты камнями до смерти, а дом подожжен. Лапидация была, по сути, смертной казнью толпы - способ причинения смерти, который неизменно клеймит преступника как врага народа.

[244] Arist. Metaph., i., 3.

[245] Diog. Laert., viii., 28.

[246] Plut. in vit. Them. Таким образом, софисты не были, как обычно утверждается, первыми, кто привнес философию в политику.

[247] См. свидетельства о великих дарованиях и настоящей философии Анаксагора в Brucker de Sect. Ion., xix.

[248] Arist. Eth. Eu., i., 5.

[249] Архелай начал преподавать в промежутке между первым и вторым визитом Анаксагора. См. Fast. Hell., vol. ii., B. C. 450.

[250] См. свидетельства об этом в "Облаках" Аристофана.

[251] Plut. in vit. Per.

[252] См. Фукидид, lib. v., c. 18, где в статьях мира говорится, что храм и фанфары Дельф должны быть независимыми, а граждане должны устанавливать свои налоги, получать свои

доходы и управлять своими делами как суверенная нация (autoteleis kai autodikois [обратитесь к этим словам в Arnold's Thucydides, vol. ii., p. 256, note 4]), в соответствии с древними законами своей страны.

[253] Mueller's Dorians, vol. ii., p. 422. Athen., iv.

[254] Короткая смена администрации, возможно, сопровождала поражение Перикла в споре о беотийской экспедиции. Он, очевидно, был у власти, поскольку управлял государственными средствами во время оппозиции Фукидида; но когда его побили, как мы должны сказать, "по беотийскому вопросу", в должность, вероятно, вступила победившая партия.

[255] Засада, согласно Диодору, lib. xii.

[256] Двадцать талантов, согласно схолиасту Аристофану. Суидас называет сумму в пятнадцать и пятьдесят талантов.

[257] Которые бежали в Македонию - Theopomp. ap. Strab. Число афинских колонистов составляло тысячу человек, согласно Диодору, и две тысячи, согласно Феопомпу.

[258] Aristoph. Nub., 213.

[259] Thucyd., i., 111.

[260] ibid., i., 115.

[261] Как явствует, помимо прочих доказательств, из рассказанной ранее истории о том, что он передал свои счета афинянам с частью десяти талантов, использовавшихся в качестве денег за тайную службу.

[262] Одна только Пропиля (тогда еще не построенная) стоила две тысячи двенадцать талантов (Harpocrat. in propylaia tauta), а некоторые храмы стоили по тысяче талантов каждый. [Если в речи Перикла речь шла о таких работах, то предложение перевести счет на себя было всего лишь красноречием. Но, возможно, обвинение, на которое это предложение должно было стать ответом, относилось только к какому-то отдельному зданию или к каким-то незначительным работам, стоимость которых могло покрыть его состояние. Вряд ли можно предположить, что, если бы затронутая щедрость была всего лишь напыщенным приемом, она могла бы вызвать какие-либо чувства, кроме смеха, у столь острой аудитории".

[263] Одного свидетельства Фукидида (lib. ii., c. 5) достаточно, чтобы разрушить все нелепые обвинения в честности Перикла, которые возникли по злому умыслу современников и до сих пор сохраняются только у тех писателей, которые не могут взвесить авторитеты. Фукидид называет его не только неподкупным, но и "явно или заведомо честным". [Chraematon te diaphanos adoratatos.] Плутарх и Исократ подтверждают это свидетельство.

[264] Plut. in vit. Per.

[265] Thucyd., lib. ii., c. 65.

[266] "Модель этого положения, благодаря которому Афины получили наиболее широкое влияние и почти абсолютное господство над союзниками, возможно, была найдена в других греческих государствах, имевших подвластных конфедератов, таких как Фивы, Элида и Аргос. Но из-за удаленности многих стран невозможно, чтобы каждый пустяк мог быть вынесен на суд в Афинах; поэтому мы должны предположить, что каждое подвластное

государство имело свою собственную низшую юрисдикцию, а верховная юрисдикция принадлежала только Афинам. Можно ли, в самом деле, предположить, что ради иска на пятьдесят или сто драхм люди отправились бы из Родоса или Византии? В частных исках, вероятно, устанавливалась денежная сумма, выше которой низший суд союзников не имел юрисдикции, а дела, связанные с более высокими суммами, передавались в Афины. Нет никаких сомнений в том, что государственные и уголовные дела в значительной степени решались в Афинах, и те немногие определенные заявления, которые сохранились, относятся к искам такого рода" -Boeckh, *Pol. Econ. of Athens*, vol. ii., p. 142, 143, перевод.

[267] При подсчете суммы сокровищ, переданных Афинам, Боэций (*Pol. Econ. of Athens*, vol. i., p. 193, перевод) сильно заблуждается из-за ошибки в датах. Он полагает, что фонд просуществовал всего десять лет, когда его привезли в Афины, тогда как он просуществовал около семнадцати, то есть с 477 до 461 г. до н. э., или, скорее, с 460 г. до н. э.. Это дает примерно ту сумму, которую утверждает Диодор, xii., p. 38 (т. е. почти 8000 талантов), хотя впоследствии он увеличивает ее до 10 000. Но значительная часть этого имущества должна была быть израсходована в ходе войны до передачи. И все же Боэкс оценивает общую сумму передачи слишком низко, когда говорит, что она не могла превышать 1800 талантов. Скорее всего, она удваивала эту сумму.

[268] Например, Эвбея, см. с. 212.

[269] *Vesp. Aristoph.* 795.

[270] *Knight's Prolegomena to Homer*; см. также Boeckh (перевод), vol. i., p. 25.

[271] *Viz.*, B. C. 424; *Ol.* 89.

[272] *Thucyd.*, iv., 57.

[273] См. *Chandler's Inscript.*

[274] Во времена Алкивиада дань была поднята до тысячи трехсот талантов, и даже это, должно быть, оценивалось очень неравномерно, если это действительно было денежное затруднение, на котором настаивали и на которое жаловались союзники. Но сопротивление, оказываемое налогам по вопросам чувства или принципа в нашей стране, как в наши дни в случае с церковными поборами, может показать истинную природу недовольства. Дело не в сумме платежа, а отчасти в униженности его уплаты, а отчасти, возможно, в обиде на несправедливое обложение во многих местах. Недовольство преувеличивает любое бремя, и пух становится тяжелым, как гора, если его взвалить на безвольные плечи. Когда Алкивиад или более поздние демагоги заключили новое соглашение, Андокид утверждает, что некоторые из союзников покинули свои родные страны и эмигрировали в Фурии. Но сколько англичан эмигрировало в Америку из-за возражений против своеобразного закона или своеобразного налога, которые государственная политика по-прежнему отстаивает, или государственная необходимость по-прежнему поддерживает! Ирландский крестьянин-католик, в действительности, возможно, не станет намного лучше с материальной точки зрения, если десятина будет передана в аренду лендлорду, и все же ирландские католики сотнями эмигрируют из страны из-за притеснений, реальных или мнимых, со стороны протестантских владельцев десятины. Будь то в древние времена или в наши дни, причина недовольства заключается не в размере налога. Люди готовы заплатить фунт за то, что им нравится, и обидеться на фардинг за то, что им ненавистно. Я сам знаю, как люди уезжали из Англии из-за гербового сбора на газеты!

[275] *Thucyd.*, lib. i., c. 75; перевод Блумфилда.

[276] Настроение, на которое намекали афинские послы: "Мы не первые, кто положил начало установившемуся обычаю, согласно которому слабый должен подчиняться сильному".

Однако у афинян было оправдание более веское, чем у древних робов. По общему мнению того времени, восстание зависимых союзников могло быть справедливо наказано тем, кто мог наказать их - (об этом заботятся коринфяне). И не похоже, что Афинская империя в этот период была более суровой, чем другие государства, по отношению к своим зависимым союзникам. Афинские послы (Thucyd., i., 78) не только цитируют гораздо более жестокие притеснения, которым подвергались ионийцы и острова со стороны Меды, но и намекают, что спартанцы были гораздо более суровыми хозяевами, чем афиняне.

[277] Всего по двенадцать драхм в год: общая сумма, таким образом, по подсчетам неоценимого Боэция, не превышала двадцать один талант.

[278] Общая сумма оценивается в тридцать три таланта.

[279] Государство само вносило значительный вклад в постановку спектаклей, а арендатор театра также был обязан обеспечивать некоторые расходы, за что получал входные деньги.

[280] По мнению Псевд. Arist. Oecon., 2-4.

[281] В экспедиции против Сицилии государство предоставило судно и оплатило команду. Триерархи снарядили корабль и дали добровольные пожертвования сверх того - Фукид, vi., 31.

[282] Литургии, как и большинство афинских законов, которые, казалось бы, преследовали богатых лично, укрепляли их положение и власть политически. Очевидно, что там, где богатство становится наиболее доступным для государства, там оно будет пользоваться наибольшим уважением. Так всегда бывает в торговых странах. В древнем Карфагене, где, по словам Аристотеля, богатство считалось добродетелью, и в современной Англии, где богатство, если не добродетель, то уж точно респектабельность.

[283] И так хорошо понимали неопределенность и искусственность афинской власти греческие государственные деятели, что мы находим среди аргументов, которыми коринфянин некоторое время спустя поддержал Пелопоннесскую войну, "что афиняне, если они проиграют один морской бой, будут полностью покорены" - и даже без такого несчастья пламя войны не могло быть разожжено, но что очевидная целесообразность [Thucyd., lib. i., с. 121. Как и предполагали коринфяне, Thucyd., lib. i., с. 122] врага было бы возбудить афинских союзников к восстанию, и прекращение или уменьшение дани было бы необходимым следствием.

[284] Если суды союзников были перенесены в Афины только после перемирия с Пелопоннесом, и даже после ostracism Фукидида, соперника Перикла, то стоимость судебных пошлин, конечно, не была одним из соображений для заключения мира; но тогда было бы более могущественное соображение о цели этого переноса, который мог быть осуществлен только миром.

[285] Plut. in vit. Per.

[286] "Как тщеславная женщина, украшенная драгоценностями", - таков был саркастический упрек союзников - Plut. in vit. Per.

[287] Пропилеи были построены под руководством Мнесикла. Она была начата в 437 г. до н. э., в правление Евфимена, через три года после Саамской войны, и завершена через пять лет. *Harpocrat. in propylaia tauta.*

[288] *Plut. in vit. Per.*

[289] См. *Arnold's Thucydides*, ii., 13, прим. 12.

[290] "Их тела тоже используются для государства, как если бы они были чьими-то, кроме их собственных; но с умом, полностью принадлежащим им, они всегда готовы оказать ему услугу" - *Thucyd.*, i., 70, перевод Блумфилда.

[291] У нас присяжные, как и судьи, получают зарплату, причем в обычных случаях по столь же низким ставкам, как и афинские дикасты (учитывая разную стоимость денег), а именно: обычные присяжные - один шиллинг за каждый процесс, а в суде шерифов - четыре пенса. То, что было столь пагубно в Афинах, совершенно безвредно в Англии; именно крупный член дикастов стал причиной бед, а не сама система оплаты, как часто утверждали неосмысленные писатели.

[292] См. книгу IV, главу V. VII этого тома.

[293] Сначала дикасты платили один обол (*Aristoph. Nubes*, 861.) Затем, при Клеоне, он был увеличен до трех; сомнительно, что в промежутке он когда-либо был равен двум оболам. Постоянно возникают ошибки между жалованьем и даже конституцией экклезиастов и дикастов. Но читатель должен помнить, что первые были народными законодателями, а вторые - народными судьями или присяжными - их функции смешивались с функциями тех и других.

[294] *Misthos ekklaesiastikos* - жалованье экклезиастов, или народного собрания.

[295] Мы не знаем, насколько выплата жалованья экклезиастам была делом рук Перикла: если да, то это должно было произойти в то время или после того, к которому мы сейчас переходим, поскольку, согласно Аристофану (*Eccles.*, 302), народ не получал жалованья во время правления Миронида, который процветал и должен был пасть вместе с Фукидидом, побежденным соперником Перикла.

[296] Афиняне могли распространять свою щедрость даже на иностранцев, как, например, их великолепный подарок, который, как говорят, был вручен Геродоту, и сумма в десять тысяч драхм, которую, по словам Исократа, они подарили Пиндару. [*Isoc. de Antidosi.*]

[297] Жалованье дикаста и экклезиаста, как мы только что видели, составляло сначала один, потом три оболы; а деньги, выплачиваемые немощным, никогда не были меньше одного или больше двух обол в день. Простые моряки в мирное время получали четыре оболы в день. Таким образом, ни экклезиаст, ни дикаст не получали столько, сколько простой матрос.

[298] Такие, как Панафиния и Иеронима.

[299] От *klaeroi*, жребий. Имена и поселения клерухии делились между определенным числом граждан по жребию.

[300] Государство только снабжало поселенцев оружием и оплачивало расходы на их путешествие. См. *Voecckh, Pol. Econ. of Athens*, vol. ii., p. 170 (перевод).

[301] *Andoc. Orat. de Pace.*

[302] Таким образом, эти институты отличались от колоний главным образом следующим: родина сохраняла твердую власть над клерухами, могла отозвать их или вернуть их владения в качестве наказания за бунт: клерухи сохраняли все права и подчинялись большинству условий граждан. [Земли давались без необходимости покидать Афины - отъезд оттуда был добровольным, хотя и являлся обычным выбором. Но независимо от того, оставались ли клерухи дома или возвращались в свое поселение, они были одинаково привязаны к афинским интересам. Из-за их малочисленности, а также принудительного и непопулярного характера их владения, их собственность, в отличие от собственности обычных колонистов, зависела от силы и безопасности родительского государства: они были не столько пересаженными побегами, сколько разветвленными ветвями одного дерева, берущими свою жизнь из одного и того же ствола. В современную эпоху Ирландия предлагает параллель со старыми клерухиями: дарение земель английским авантюристам, долгая и тесная связь, существовавшая между нравами, привычками и политическими чувствами английских поселенцев и родительского государства, разделение между поселенцами и туземцами, а также временная власть и последующая слабость, к которой привело домашнее правительство в результате принятия системы, обеспечивающей гарнизоны на земле, но изнуряющей жителей.

[303] Даже эти колонии состояли не только из афинян, но и из представителей смешанных и различных рас. Колония в Амфиполе (465 г. до н. э.) - это первая зафиксированная колония афинян после великого переселения ионийцев.

[304] В год, когда была основана колония Турий или Фурий, Лисию было пятнадцать лет, Геродоту - сорок один.

[305] Plut. in vit. Per. Schol. Aristoph. Av., 521.

[306] То есть Каллий, Лисипп и Кратин. См. Athenaeus, lib. viii., p. 344. Этот достойный человек, по-видимому, обладал приятными недугами, характерными для людей, ведущих здоровый образ жизни.

[307] Plut. in vit. Them.

[308] Историки, следуя принятому тексту Плутарха, распространили невероятную историю о том, что отвергнутые претенденты были проданы в рабство; Но если учесть, какое необычайное волнение должно было вызвать вынесение такого приговора столь многим людям, составлявшим четвертую часть свободного населения, если вспомнить о многочисленных связях, по крайней мере в четыре раза превышавших их собственное число, которые должны были образоваться у пяти тысяч человек, долгое время живших без помех и подозрений в качестве свободных граждан, то невозможно представить, что такую суровость можно было даже попытаться осуществить, не вызвав революции, смуты или грозного сопротивления. И все же эта мера, самая важная, если бы она привела к таким результатам, и самая чудесная, если бы этого не произошло, обойдена молчанием Фукидидом и всеми другими компетентными органами. Светлая поправка г-на Клинтона (Fast. Hell., vol. ii., second edition, p. 52 и 390, note p) восстанавливает правильное значение. Вместо *heprataesan* он предлагает *apraelathaesan* - авторитеты из Лисия, цитируемые г-ном Клинтоном (стр. 390), похоже, решают этот вопрос. "Эти пять тысяч бесправных граждан в 544 г. до н. э. частично обеспечили колонию в Фурии в следующем году, а частично способствовали увеличению численности метеков".

[309] Четырнадцать тысяч двести сорок, согласно Филохору. Под термином "свободные граждане" следует понимать афинян мужского пола старше двадцати лет, то есть тех, кто

имеет право голоса в общественном собрании. По подсчетам г-на Клинтона, если добавить женщин и детей, то четырнадцать тысяч двести сорок человек составят около пятидесяти восьми тысяч шестисот сорока, как общее количество свободного населения.

[310] Thucyd., i., с. 40.

[311] См. речь коринфян - Thucyd., lib. i., 70.

[312] Кто был этот Фукидид? Соперник Перикла был сослан менее чем за десять лет до этого [на самом деле около четырех лет назад, т. е. в 444 г. до н. э.]; трудно предположить, что он мог быть отозван до истечения срока наказания и назначен командующим в тот самый период, когда власть и влияние Перикла были на пике. Историку Фукидиду был около тридцати одного года - возраст, в котором столь высокое командование вряд ли было бы предоставлено кому-либо из граждан, даже в Афинах, где люди вступали в государственные дела раньше, чем в других эллинских государствах [сам Фукидид (lib. v, 43) говорит об Алкивиаде как о юноше (по крайней мере, о том, кого так считали бы в любом другом государстве) в то время, когда ему не могло быть намного меньше, а скорее всего, было больше тридцати]; кроме того, если бы Фукидид присутствовал при этом, разве он не сообщил бы нам более подробные детали столь важного события? Это имя носили несколько человек. Схолиаст об Аристофане (Acharn., v., 703) говорит, что их было четверо, которых он различает следующим образом: первый - историк; второй - гаргетянин; третий - фессалиец; четвертый - сын Мелесия. Схолиаст о Веспее (v., 991) перечисляет тех же, называя их всех афинянами. Сын Мелесия обычно считается противником Перикла - так его называет Андротион. Феопомп, однако, утверждает, что это был сын Пантануса. Марцеллин (in vit. Thucyd., p. xi.) говорит о многих представителях этого имени, а также выделяет четырех для особого внимания. 1-й - историк; 2-й - сын Мелесия; 3-й - фарсалиец; 4-й - поэт из прихода Ахерда, упоминаемый Андротионом и называемый сыном Аристана. Двое из них, историк и сын Мелесия, нам хорошо известны; но по причинам, о которых я уже говорил, более вероятно, что один из них был полководцем в Самийской войне. Третий Фукидид (фессалиец или фарсалиец) упоминается самим историком (viii., 92). Я принимаю Гаргета (возможно, сына Пантана, названного Феопомпом) за командующего экспедицией.

[313] Plut. in vit. Per.

[314] Alexis ap. Ath., lib. xiii.

[315] В этот период афиняне вели войну с терпением, не свойственным последующим эпохам. Когда Тимофей осаждал Самос, он поддерживал свое вооружение исключительно за счет враждебной страны, в то время как девятимесячная осада обошлась Афинам в столь значительную сумму.

[316] Plut. in vit. Per.

Контрибуция, взимаемая с саамитян, составляла двести талантов, пропорциональных, по словам Диодора, полной стоимости экспедиции. Но, как отмечает Бёх (Pol. Econ. of Athens, vol. i., p. 386, trans.) хорошо замечает: "Это был очень мягкий подсчет; девятимесячная осада на суше и на море, в которой участвовало сто девяносто девять трирем [Бозций указывает число трирем в сто девяносто девять, но на самом деле их было двести пятнадцать, поскольку не следует опускать шестнадцать, находившихся на карийском побережье, или отправленных на Лесбос и Хиос для снабжения], или, во всяком случае, большая часть этого числа в течение значительного времени, очевидно, должна была вызвать большие расходы,

и поэтому утверждение Исократ и Непоса, что на это было потрачено двенадцать сотен талантов, представляется отнюдь не преувеличенным."

[317] Именно от Византии зависела кукуруза, которую они импортировали с берегов Эвксинского моря.

[318] Практика заупокойных речей, вероятно, была очень древней среди греков: но закон, который предписывал их в Афинах, схолиаст Фукидид (lib. ii., 35) относит к Солону; Диодор же сообщает нам, что он был принят только после битвы при Платее. Наиболее вероятно, что это был обычай героических времен, который вышел из употребления, пока мелкие распри между греческими государствами оставались незначительными и неважными; но после персидского вторжения он был торжественно возрожден, учитывая масштабы войн, которые пережила Греция, а также достоинство и святость дела, в котором пали защитники своей страны.

[319] Ouk an muraisi graus eous aegeitheo.

Это кажется единственной естественной интерпретацией строки, в которой, из-за отсутствия контекста, мы теряем все остроумие, которым могло обладать предложение - а мы должны полагать, что оно было остроумным, поскольку Плутарх, очевидно, считает его капитальной шуткой. В подтверждение такого толкования аллюзии, которая несколько озадачила комментаторов, можно заметить, что за десять лет до этого Перикл счел сарказм по поводу возраста Эльпиники лучшим способом заставить ее замолчать. Этот анекдот дважды пересказан Плутархом - в vit. Cim., с. 14, и в vit. Per., с. 10.

[320] Aristot., Poet. iv.

[321] "Поскольку он был удален из Коса в младенчестве, имя принятой им страны преобладало над именем страны его рождения, и Эпихарм называется сиракузцем, хотя родился в Косе, как Аполлоний называется родянином, хотя родился в Александрии." - Fast. Hell., vol. ii., introduction.

[322] Мольер.

[323] Laertius, viii. Ибо очевидно, что Эпихарм философ был не кем иным, как Эпихармом философским поэтом - восторгом Платона, который сам был наполовину пифагорейцем.- См. Bentley, Diss. Phal., p. 201; Laertius, viii., 78; Fynes Clinton, Fast. Hell., vol. ii., introduction, p. 36 (note g).

[324] Несколько его пьес, очевидно, не были мифологическими, но они были лишь исключениями из общего правила и могли быть написаны после менее изысканных комедий Магнеса в Афинах.

[325] Любовь к ложным антитезам.

[326] В Сиракузах, однако, существовала республика, когда Эпихарм впервые выставил свои комедии. Поэтому его гений сформировался в республике, хотя впоследствии был возвращен тиранией.

[327] Ведь Кратес играл в пьесах Кратина, прежде чем стал их автором. (Первая пьеса Кратеса датируется двумя годами раньше первой записанной пьесы (Архилоха) Кратина; следовательно, Кратин должен был прославиться задолго до показа Архилоха - более того, его ранние пьесы, по словам Аристофана, были самыми успешными, пока старый

джентльмен последним энергичным усилием не победил любимую пьесу самого Аристофана.

[То, что магистратура сначала не разрешила комедию, свидетельствует о том, что с самого начала она, как и трагедия, не считалась религиозной. И действительно, хотя современные критики постоянно подчеркивают ее связь с религией, я сомневаюсь, что когда-либо народ задумывался о ее более святых атрибутах и ассоциациях, чем современные неаполитанцы о святости карнавала, когда они бросают друг в друга сахарные сливки.

[329] Однако в промежутке поэты, похоже, пытались обойти закон, поскольку в этот период зафиксированы названия двух пьес (Satyroï и Koleophoroi) - пьес, которые, вероятно, приближаются к комедии, не отвечая ее юридическому определению. Возможно, что трудность жесткого соблюдения закона вопреки духу времени и склонностям народа была одной из причин, приведших к отмене запрета.

[330] Поскольку осада продолжалась девять месяцев того года, в котором был принят указ.

[331] Таким образом, Аристофан энергично описывает аплодисменты, которые сопровождали ранние постановки Кратина. Я цитирую по мастерскому переводу г-на Митчелла.

"Кто Кратина может забыть, или бурю прихоти и остроумия,
Которые сотрясали театры под его руководством;
Когда песнь Панегирика изливала свой поток хвалы,
Кто, кроме него, был на вершине волны?"

* * * * *

"Его шаг был подобен шагу потока, покидающего свое русло,
И марш его был грубым опустошением" и т.д.
Mitchell's Aristoph., The Knights, p. 204.

Человек, написавший это, должно быть, почувствовал в то время, когда, будучи мальчиком, он впервые услышал рев публики, что такое управлять чувствами восемнадцати тысяч зрителей!

[332] De l'esprit, passim.

[333] De Poet., с. 26.

[334] Оракул, наградивший Сократа высшей степенью мудрости, дал Софоклу положительную, а Еврипиду - сравнительную степень,

Sophos Sophoclaes; sophoteros d'Euripoeaes;
Andron de panton Sokrataes sophotatos.

Софокл мудр, Еврипид мудрее, но мудрейший из всех людей - Сократ".

[335] Орестея.

[336] Из семидесяти пьес Эсхила только тринадцать имели успех; он выставлялся пятнадцать лет, прежде чем получил свой первый приз; и сам закон, принятый в честь его памяти, о том,

что хор должен быть разрешен любому поэту, решившему вновь выставить свои драмы, кажется, указывает на необходимость некоторого поощрения таких выставок. Это становится еще более очевидным, если мы вместе с Квинтилианом считаем, что поэтам, которые выставлялись, разрешалось исправлять и полировать свои драмы, чтобы они соответствовали современному вкусу, и играть роль Киббера для афинского Шекспира.

[337] Athenaeus, lib. xiii., p. 603, 604.

[338] Сообщается, что он, действительно, говорил, что радуется старости, которая избавила его от сурового и назойливого наставника. -Athen., lib. 12, p. 510. Но поэт, тем не менее, похоже, сохранил свои амурные наклонности, по крайней мере, до последнего.- См. Athenaeus, lib. 13, p. 523.

[339] Он действительно обвиняет Софокла в скупости, но очень красиво искупает ее в "Лягушках".

[340] М. Шлегель с удовольствием предается одной из своих самых декламационных рапсодий на жизнь, "столь дорогую богам", этого "благочестивого и святого поэта". Но в частной жизни Софокл был распутником, а в общественной - шарлатаном и обрезчиком, если не совсем отступником. Возможно, именно распушенность его принципов и заставляла считать его таким приятным человеком. По крайней мере, в наше время это нередкая причина личной популярности. Люди в значительной степени теряют свой гнев и зависть к гению, когда он бросает им вниз связку или две человеческих слабостей, с помощью которых они могут подняться до его уровня.

[341] Говорят, правда, что это назначение было наградой за успешную трагедию; скорее всего, оно было вызвано его рождением, состоянием и личной популярностью.

[342] Похоже, однако, что Перикл очень низко оценивал его военные способности. 13, p. 604.

[343] Oedip. Tyr., 1429, etc.

[344] Когда Софокл (Athenaeus, i., p. 22) говорит, что Эсхил сочиняет достойно, но сам того не зная, его слова свидетельствуют о том, какого изучения стоили ему его сочинения.

[345] "Хор должен рассматриваться как одно из лиц в драме, должен быть частью целого и участником действия, не как у Еврипида, а как у Софокла" -Aristot. de Poet., перевод Твайнинга. Но даже у Софокла, по крайней мере в тех его пьесах, которые дошли до нас, хор редко, если вообще когда-либо, участвует во внешнем и положительном действии пьесы; он скорее продолжает и выражает развитие эмоций, которые возникают в результате действия.

[346] -akno toi pros s' aposkopois' anax.-Oedip. Tyr., 711.

Эта строка показывает, как много эмоций мог выразить актер, несмотря на маску.

[347] "Из всех открытий лучшим является то, которое возникает из самого действия и в котором поразительный эффект производят вероятные происшествия. Так было в "Эдипе" Софокла" - "Аристотель де Поэт", перевод Твайнинга.

[348] Но место, посвященное тем божествам, которые люди "трепещут назвать", обладает всеми чертами внешней красоты, которые контрастируют и облагораживают, как бы, метафизический ужас ассоциаций. А прекрасное описание самого Колоней, которое, как говорят, Софокл читал своим судьям, обвиненным в безрассудстве, кажется, рисует дом,

более подходящий для милостей, чем для фурий. Хор сообщает незнакомцу, что он прибыл в "белый Колоней".

"Где всегда и во все времена, сквозь зеленую долину
Прносятся плачущие ноты соловья
Из дома своего, где плющ темный сплетается
С рощей бога ночь листьев;
И виноградные лозы распускаются на одинокой поляне,
И солнце лета тускнеет в тени,
И бури зимние не утихают,
Чтоб дрогнул лист с очарованных деревьев;
Ибо там, о вечно там,
с этой прекрасной горной толпой,
Которые были его милыми няньками, нимфами Нисы.
Дикий Вакх держит свой двор, среди сознательных лесов!
Очаровательная, вечно там,
Корона могущественных богинь древности,
Нарцисс с его великолепными оттенками
Из купальни небесной восхитительных росов,
И крокус проливает лучи золотые.
И вечно бродят там
Фонтаны играют,
И Цефис питает свою реку
Из их сладких урн день за днем.
Река не знает недостатка в воде;
Вниз по долине скользят воды,
И чистый дождь, что льется с приливом.
Зовет буйную красоту из сердца земли.
А у берегов хоровые речи муз
И там любовь сдерживает свой золотой порыв".

[349] Geronta dorthoun, phlauron, os neos pesae.
Oedip. Col., 396.

Таким образом, хотя его дочь только выросла из детства в раннюю женственность, Эдип перешел из юности в возраст со времени создания "Эдипа Тиранна".

[350] См. его самооправдание, 960-1000.

[351] Поскольку каждый поэт имел в своем распоряжении только трех актеров, песня хора, вероятно, давала время представителю Тесея сменить платье и вновь предстать в образе Полиника.

[352] Образность последних двух строк усилена по сравнению с оригиналом, чтобы донести до читателя то, что в представлении должно было предстать перед зрителем.

[353] Меркурий.

[354] Прозерпина.

[355] Autonamos.-Antig., 821.

[356] Ou toi synechthein, alla symphilein ephun. Antig., 523.

[357] Церепа.

[358] Hyper dilophon petras-viz., Parnassus. Вакхический свет на двойном гребне Парнаса, возвещающий о появлении бога, - излюбленная аллюзия греческих поэтов.

[359] Его мать, Семела.

[360] Аристотель считает случай, когда сын пытается ударить отца, шокирующим, но не трагическим, то есть насильственное действие является эпизодическим, поскольку оно не приведено в исполнение; однако, если мы можем связать сюжет "Антигоны" с предыдущими пьесами, включая "Эдипа", в попытке отцеубийства есть что-то от возмездия, когда мы вспоминаем лицемерную и жестокую суровость Креона к невольному отцеубийству Эдипа. Все описание сына в этой живой гробнице, взирающего на отца с вынутым мечом, на мертвую форму своей суженой, с последующей картиной любовников, соединенных в смерти, представляет собой одно из самых мастерских сочетаний пафоса и ужаса в древней или современной поэзии.

[361] Это не единственный отрывок, в котором Софокл выражает женское горе через молчание. В "Трахинятах" Деянира исчезает с той же немой внезапностью, когда узнает от сына о том, как подействовал на ее мужа дар кентавра.

[362] Согласно глубочайшей максиме Аристотеля, что в трагедии никогда не следует выбирать объектом наказания очень плохого человека, поскольку его судьба не рассчитана на то, чтобы вызывать наши симпатии.

[363] Электра, I. 250-300.

[364] Когда (строка 614) Клитемнестра упрекает Электру за использование оскорбительных эпитетов в адрес матери - и "Электры тоже, в такую пору жизни", - меня удивляет, что некоторые критики считают сомнительным, что Клитемнестра хотела намекнуть на то, что она слишком молода или слишком взросла для такой несправедливой резкости. Не только возраст Ореста, столь младшего по отношению к Электре, доказывает бесспорность последнего значения, но и слова самой Электры, обращенные к своей младшей сестре Хрисотемиде, когда она говорит ей, что "стареет, неженатая".

Estos'onde tou chronou alektra gaearskousan anumegaia te.

У Бранка есть разумное замечание о возрасте Электры, строка 614.

[365] Макбет, акт i., сцена 5.

[366] См. примечание [376].

[367] Софокл умело избегает ступать на почву, освященную Эсхилом. Он не ставит перед нами убийство с борьбой и решимостью Ореста.

[368] Это очень характерно для Софокла; он особенно любит использовать то, что можно назвать "жизненным кризисом", в качестве источника непосредственного интереса для зрителей. Так, в "Эдипе в Колонее" Эдип не успевает обнаружить, что находится в роще фурий, как понимает, что его час близок; так и в "Аяксе" Нунций сообщает от прорицателя, что если Аякс сможет пережить один день, который станет кризисом его жизни, то гнев богини прекратится. Эта особенность своеобразного стиля Софокла может рассматриваться как одно из доказательств (если бы таковые имелись) подлинности "Трахинян".

[369] М. Шлегель довольно необоснованно обвиняет Деяниру в "легкомыслии" - все ее побуждения, напротив, чисты и высоки, хотя нежны и ласковы.

[370] Обратите внимание на нарушение единства, которое Софокл, самый артистичный из всех греческих трагиков, без колебаний совершает, когда считает это необходимым. В начале пьесы Гилус отправился в Кенею; он уже побывал там и обратно - расстояние от горы Оэты до мыса на Эвбее, за время, которое около семисот тридцати строк ушло на пересказ! И это еще не все: незадолго до последнего хора - всего около ста строк назад - Лихас отправился в Кенею; и все же предполагается, что прошло достаточно времени, чтобы он прибыл туда, присутствовал на жертвоприношении, был убит Гераклом и после всего этого Хилус, который рассказывает эту историю, совершил обратный путь в Трахину.

[371] Даже Улисс, удачливый соперник Аякса, демонстрирует нежелание встречаться с безумцем, что не лишено юмора.

[372] Поттер, как и некоторые другие авторитеты, утверждает, что "мы можем быть уверены, что политическая вражда афинян со спартанцами и аргивянами была причиной этого одиозного изображения Менелая и Агамемнона". Но в то время у афинян не было политической вражды с аргивянами, которые, как известно, завидовали спартанцам; а что касается спартанцев, то Агамемнон и Менелай не были их героями и соотечественниками. Напротив, именно троны Менелая и Агамемнона были свергнуты спартанцами. Царские братья, вероятно, были принесены в жертву поэтом, а не патриотом. Драматический эффект требовал, чтобы они стали пеной для мужественного пыла Тевсера и спокойного великодушия Улисса.

[373] Чтобы катастрофа была несчастливой! Аристотель, Поэт, хiii.

В той же главе Аристотель справедливо относит ко второму рангу басни те трагедии, в которых предпринимается банальная и глупая мораль о наказании плохих и вознаграждении хороших.

[374] Когда Аристофан (в образе Эсхила) высмеивает Еврипида за пошлость извлекать пафос из лохмотьев и т. д. своих героев, он не должен был опускать все порицания лохмотьев и язв любимого героя Софокла. И если Телеф первого представлен нищим, то и Эдип в Колонее второго тоже. У Еврипида много недостатков, но к нему несправедливо относятся как древние, так и современные гиперкритики.

[375] Единичные эффекты, а не сюжеты.

[376] "Полюс, прославленный, - говорит Геллий, - во всей Греции, ученый актер благороднейших трагедий". Геллий рассказывает о нем анекдот, что, играя Электру Софокла, в сцене, где она изображена с урной, в которой, как предполагается, находятся останки ее брата, он принес на сцену урну и мощи своего собственного сына, так что его причитания были настоящими эмоциями. Поляки исполняли роли героев в пьесах "Эдип Тиранин" и "Эдип в Колонее" - Arrian. ap. Stob., xcvi., 28. Актеры были не менее важными персонами на античной сцене, чем на современной. Аристотель сетует на то, что хорошие поэты предавались эпизодам или излишне удлинляли и украшали не нужные по сюжету роли, чтобы угодить соперничающим исполнителям. - Arist. de Poet., ix. Именно на это жалуются в наши дни. Аттические артисты были лучшими в Греции - все другие государства стремились привлечь их, но они подвергались суровым наказаниям, если отсутствовали во время афинских празднеств. Они получали очень высокое вознаграждение (Plut. in Alex.). Полюс мог заработать не менее таланта за два дня (Plut. in Rhet. vit.), гораздо большую сумму

(учитывая относительную стоимость денег), чем любой английский актер мог бы получить сейчас за соразмерный период службы. Хотя во времена Аристотеля актеры в целом не пользовались большим уважением, в самой профессии не было ничего крайне унижительного. Высокое происхождение Софокла и Эсхила не мешало им выступать в собственных пьесах. Актеры часто принимали видное участие в государственных делах, а Аристодем, игрок, был отправлен послом к царю Филиппу. Этому актеру придавалось столь большое значение, что государство взяло на себя отправить послов от его имени во все города, где у него были контракты.-Aeschin. de Fals. Legat., p. 30-203, ed. Reiske.

[377] Минерва Промеха. *Haec megalae Athaena*.

[378] Zosimus, v., p. 294.

[379] Oedip. Colon., 671, etc.

[380] Oedip. Colon., 691.